PG3337
.M4
A17
1922

Л. А. МЕЙ

И

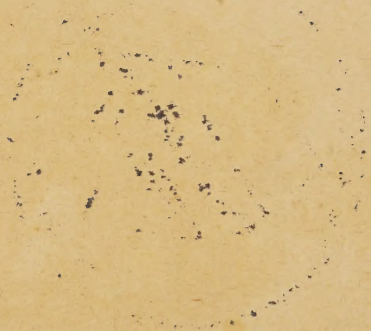
ЕГО ПОЭЗИЯ

РЕД. И СТАТЬЯ ВЛ. ПЯСТА

К СТОЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ МЕЯ

(1822 — 13 февраля — 1922)

„ПАРѲЕНОН"
САНКТПЕТЕРБУРГ
1922



a 00003 027600

Л. А. МЕЙ

И

ЕГО ПОЭЗИЯ

PG3337
.M4
A17
1922

L.A. MEĬ I EGO POEZIIA

РЕД. и СТАТЬЯ ВЛ. ПЯСТА

К СТОЛЕТИЮ РОЖДЕНИЯ МЕЯ

(1822—13 февраля—1922)

UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL
LIBRARY
PROPERTY OF

„ПАРѲЕНОНЪ"
САНКТПЕТЕРБУРГЪ
1922

МАРКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
РАБОТЫ ХУДОЖНИКА Н. А. ТЫРСЫ

Р. В. Ц. № 493. Тир. 1000

14-я Государственная типография. Птг. Социалистическая, 14.

ПОЭЗИЯ МЕЯ

1

Есть нечто, оберегающее от забвения «бесполезные ценности», подобные той, что служит заголовком настоящей статьи. В одном случае память о поэте хранят поэты, в другом — академики, профессура; третьих—почитает горящая политическими идеями молодежь. Последнее, между прочим, самое непрочное, ибо темп развития политических воззрений общества головокружительно быстр; и поэт, вчера казавшийся проповедником наиболее передовых идей, сегодня — под угрозой быть признанным за обскуранта.

Поэзию Мея, надо сказать сразу, ни одна из перечисленных групп не брала под свое покровительство. Если взять его сверстников—певцов «серебреного» века русской лиры, сменившего Пушкинский «золотой»,—окажется, что поэты наших дней предпочитают всем другим—и, вероятно, по справедливости—Фета, а с другой стороны умиляются Щербине и, особенно, Аполлону Григорьеву; относительно Фета «академики» идут у поэтов на поводу; молодежь же и широкая публика, после Некрасова, знает лучше всего Ал. Толстого.

Мея же, а за ним Майкова, ценят по-настоящему те, кто в стихах чувствует острее всего элемент звучания, то-есть—произносители стихов, декламаторы.

Чем дальше, тем это становится явнее. Тем декламаторы ставят Мея выше. Потому что Меевские эффекты произнесения—тонки; требуют они артистического чутья у исполнителя и, не менее, художественного вкуса у воспринимающего. Иными словами: можно сильно действовать с эстрады на волевые импульсы и аффекты слушателя непосредственно содержанием, фабулой вещи,—минуя эстетический момент (я не буду перечислять имена таких любимых публикою рассадников дурного вкуса, которые принадлежат поэтам этого рода); можно же вызывать у внимающего, наоборот, только чисто-художественные эмоции, делая через то его исподволь более «духовным», более способным улавливать идеальное во всех областях—к этому типу принадлежит поэзия и Пуш-

кина, и Мея, и Бальмонта; наконец, есть поэты, декламация из которых вызывает и первое и второе действие, в разной, так сказать, дозировке, таковы: Некрасов, Лермонтов, Блок.

Кроме того, есть поэты, которые вообще мало пригодны, мало «хотят» быть произносимыми; поэты-мыслители, вроде Боратынского, Тютчева, Фета. Последние двое из этих крупнейших творцов дают богатый материал для интерпретации музыкой; романсы на слова Фета всегда были особенно популярны для исполнения; но музыкальнейшие сами по себе стихи его с эстрады декламируются очень редко. Не буду доискиваться здесь причин этого; я лишь мимоходом отметил это явление.

2

Недаром поместил я Мея в одну группу с Пушкиным. Индивидуальность Мея, если не столь громадна, как у этого «солнца» русской поэзии, у этого «гармонического все», как называет Пушкина третий поэт, названный мною рядом с ними, Бальмонт,—она столь же, как у Пушкина, г а р м о н и ч н а. Гармонична в своей чистоте; и в самосознании своем, как художественной гармонии.

И—с другой стороны, гармония эта не менее индивидуальна.

Поясним наши оба утверждения.

Давно-давно, больше двадцати лет назад, мне, еще отроку, попалась в нашей библиотеке книга стихов Мея. Имя поэта я часто слышал от отца, произносившего его с большим восхищением; но стихов Мея он не декламировал; тогда как Фета, Ал. Толстого, Майкова и Полонского читал вслух постоянно.

Я вспоминаю всегда этот крещенский сочельник 1900 года, как один из самых «больших» дней моей жизни. День третьего, по времени, «откровения» из числа тех, которые дало мне искусство. До того самым моим «заветным» поэтом был Лермонтов; его любил я до такой степени, что буквально страдал, когда кто-либо мне или при мне «осмеливался» говорить о предмете моей любви. Как если бы кто вздумал прикасаться к любимой женщине на глазах ревнивого ее любовника.

Лермонтову я не изменил, нет. Но с первой страницей Мея в душе моей раскрылись иные области, иные миры. Душа моя раздвинулась в новую бесконечность. Лермонтов—тоже был бесконечностью; от прибавления к ней другой бесконечности получилась сумма, равная то же бесконечности. Стало быть, Лермонтов остался для меня тем, что был, то-есть в с е м; но всем стал также и Мей.

И эта первая страница была портретом Мея (без бороды, в профиль) и его автографом:

Не верю, Господи, чтоб Ты меня забыл;
Не верю, Господи, чтоб Ты меня отринул;
Я свой талант в душе лукаво не зарыл,
И хищный тать его из недр моих не вынул.

Нет, в лоне у Тебя, художника—Творца,
Почиет красота и ныне и от века;
И Ты простишь грехи раба и человека
За песни красоте свободного певца.

Читатель, если вы—libre-penseur, забудьте ненадолго о всей вашей философии, о человекобожестве Фейербаха, о Штирнере и Ницше, о Конте и Каутском, об Эвгемере и Марксе. На минуту войдите в душу отрока, наученного зачаткам Закона Божия — общего всем религиям, независимо от вероисповеданий. Проникнитесь теми идеями величия Божия и тем благоговейным страхом перед святостью Создателя, который внушили вам с детства. Только на минуту — потом я отдам вам ваше свободомыслие назад.

Вы возвратили себе детскую веру? Перечли это стихотворение? И почувствовали приблизительно, что испытал тогда я? Вы сокрушились с Меем и со мной о грехах своих (допустивши, что понятие о них — не фикция)? Согласились с тем, что вы—раб Божий? Да.—Но одновременно с этим вы же взяли назад свое согласие: как Мей, почувствовав свою свободу.

Какой мощный, горделивый «язык богов» — язык художника Мея, говорящего с художником—Творцом. Мей не просит Бога, он констатирует только — бестрепетно и величаво, что Бог ему грехи простит; высказывает в форме категорической суждение аподиктическое. Да, непременно так будет; Бог не может не простить его грехи, и только потому, что он сам, Мей, был певцом и был в п о л н е свободным.

То-есть, равным Богу.

С тем же сладостным дерзанием — замиранием сердца, Бальмонт дешифрировал метаграммой имя его любимого певца, Эдгара По, читая вместо EDGAR POE слова A GOD PEER, что значит „равный Богу“. Как отроком я тоже вычитывал в этих благочестивейших стихах Мея, что он — и каждый из нас, если он свободный творец — Богу равен.

Целое может быть равно своей части, если она бесконечна.

И второе: Бог—художник. О, катехизис Филарета позабыл вставить это свойство Божие в свой перечень. Но неужели вы не почувствовали после этих стихов Мея, что это-то свойство и есть главное,—остальные же—его производные? Я, мальчик, почувствовал так и впервые к Богу отнесся не со страхом, а с любовью.

Теперь третье:

Я свой талант в душе лукаво не зарыл,
И хищный тать его из недр моих не вынул.

Сказано, тихо, просто, уверенно, спокойно. Если кипучий Бальмонт впоследствии выкрикнул:

Я—изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты предтечи,—

так и то мы признали, что право сказать эти слова в некоторых отношениях поэт имел:

Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Перепевные, гневные, нежные звоны.

Да, именно так; и с этой стороны все другие русские поэты были Бальмонта предтечи. Из этого, конечно, не следует, что все, после Бальмонта пришедшие, являются его подражателями. Отнюдь нет; весьма вероятно, что уже прозвенели звоны и такой нежности, после Бальмонта, что поэзия Бальмонта послужила только предтечею для них...

Но гораздо больше спокойной силы и достоверности,—и, может быть, в конце концов, и гордости, и высшей самооценки, в скромных на первый взгляд словах Мея,—всего о том, что он таланта не зарыл и не позволил никому у себя украсть.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу,
И милость к падшим призывал—

так сказал Пушкин. Тоже—правдиво, спокойно и просто. Но совсем не так, как Мей, и не о том. Совсем не так, как Бальмонт. Я нарочно привел эти выдержки из всех трех поэтов. Из сопоставления их наглядно, как индивидуален каждый.

3

Если читатель сравнение Мея с Богом мне простит,—сравнения с Пушкиным критики мне не простят. Со Щербиной, с Майковым, с Ал. Толстым,—не возбраняется. Но с Пушкиным! Вот, про Фофанова выражались: «Десяток таких за Пушкинский мизинец!»—«Не было б с тобою того же!»—напомнят критики строку Алексея Толстого.

«Отступаю на заранее приготовленные позиции». Пушкин—начало и основа всей поэзии и художественной прозы России XIX, даже XX столетия. У Пушкина продолжатели—Лермонтов и Достоевский, Гоголь и Блок. Мей не создал никакой школы—и вряд ли создаст. У Мея—ни одного последователя, ни даже подражателя.

Пушкин каноничен. Слабых строк у него... не может быть.—Мей утопает в слабостях. В кучах сырой земли надо отыскивать его жемчуга. Его не только можно, но д о л ж н о «отжимать». Его можно даже местами пытаться редактировать.

Но что из того, друзья, когда Мей мог создать такие строки и стихи, каких н е м о г создать Пушкин.

Быль, пережившая в устном предании роды и роды...
Близко Моравского города Ольмюца в старые годы

Был монастырь кармелитов. Суров и печален
Нынешний вид монастырских развалин;
Крепкие стены обители, башни ее и платформы
Камень за камнем, низринули грозные бури Реформы,
Остов разрушенный—в саван колючий одели
Темные сосны да ели.

Вот переводные стихи Мея, «Альфус» моравское предание. Прежде всего: немудрено, что первые два издателя помещали эту вещь в число оригинальных поэм Мея: никаких признаков «насильственности»—того, что в переводах считается неизбежным, здесь нет. Современный знаток перевода, оригинальнейший и богатейший поэт, Вяч. Иванов, говорит «Переводчику»:

и верно без насилий
Не обойдешься ты и без измен,
Хотя б ты другом был всех девяти камен.

Ну, а Мей совершенно легко обошелся.

Затем: Мей выбрал эпический тон, в повествовании, и в ритме созданной им самим строфы. Одной, кстати, из бесчисленных созданных Меем строф: они теснились около него, давили его, мешали ему, вероятно, спать, он не мог проснуться без новой запевающей в нем строфы; без новых, вылетающих из уст его, стихи свои диктовавшего, смелых и прекрасных рифм.

Здесь сделаю маленькое отступление: вы, современники, провозгласившие Маяковского в поэзии XX века тем, что в XIX веке был Пушкин, в подтверждение своих мнений приводите весьма любопытную статистику его ритмических и рифменных нововведений, которые называете «Америками Маяковского». Тогда скажите мне вы, выставившие тезис, что «содержание исчерпывается совокупностью формальных художественных приемов», отчего вы забыли о Мее, открывшем в свое время ритмических ходов и приемов—инструментовки и рифмы—не менее, чем ныне ваш кумир? Я скажу вам: не только потому, что «всяк кулик свое болото хвалит», а может быть еще и потому, что на примере Мея вам доказать свой тезис не удастся...

Но переходим к языку этой вещи. И здесь мы снова встречаемся с тем, чего Пушкин создать не мог. Первое, что у Мея ново по сравнению с Пушкиным — это ритм, строфа и рифма. А второе: Пушкин не мог, как Мей, говорить эпическим тоном на языке современном. Вслушайтесь в эти Меевские стихи: ни одного выражения, которого вы не могли бы произнести вчера или сегодня.

Я не говорю, что у Мея нигде нет необоснованных архаизмов. У него и не такие еще погрешности встречаются; например, славянизмы и грубые провинциализмы чуть не рядом; но это для него—промахи, случайности, — очень частые,—но все-таки исключения, правило только нарушающие и вместе подтверждающие.

Пушкин же, как доказывают новейшие исследователи поэзии, был не столько зачинателем в поэтике своей, как блестящим заверши-

лем русской поэзии Екатерининской и Александровской эпох, и, следовательно, находился, несмотря на весь свой гений, под влиянием стиля предшествовавших ему поэтов, для которых (Державина, Батюшкова, Богдановича) язык, в Пушкинскую пору ставший архаическим, был языком современным.

Вследствие этого, гигантский реформатор поэтического языка, Пушкин, был реформатором в нем не до конца. Такие стихотворения Пушкина, которые нам кажутся написанными в нарочно выбранном стиле—как «Анчар-Древо яда» с его строкою: «И он послушно в путь потек», с его рифмою: «раскаленной»—«вселенной», или «Отцы пустынники и жены непорочны»,—на самом деле никаким сознательным выбором продиктованы поэту не были. Если бы сознательный выбор был, в стихи не вошли бы строки:

«Послал к Анчару властным взглядом»

или

«Как та, которую священник повторяет»,

так как они на славянском языке звучать могли бы лишь совсем иначе. Я не упрекаю Пушкина в нечуткости к стилю, в его нарушениях. Отнюдь. Я говорю только, что Пушкин в процессе творчества прибег к своему стилю бессознательно, просто погрузившись в него, как в свою стихию,—в языковую стихию поэтов поры, в которой он был по времени последним.

Для Мея, напротив, погруженье в славянизм было бы трудным, так сказать, предприятием. Он был дома—в стихиях—во-первых, современного языка,—во-вторых, языка, хоть и древнего,—но народного русского, не славянского. Первым об'ясняется то, что в эпическом предании «Альфус» Мей говорит языком современным; вторым—что он перелагает русским народным стихом «Слово о Полку Игореве», стиль которого, амальгама славянского со старо-русским, его, очевидно, не удовлетворяет. И то, и другое Пушкину, несмотря на его гениальность, было бы недоступно.

4

Одним из наиболее совершенных произведений Мея мне с детства и до сих пор кажется перевод Соломоновой «Песни Песней», названной им «Еврейскими песнями», вероятно, по цензурным условиям тогдашнего времени. Курьезно, что редактор последнего полного издания сочинений Мея П. В. Быков, переключивший в число переводов две вещи Мея, в более ранних изданиях напечатанные за оригинальные, не счел нужным это сделать с «Песнью Песней», хотя сам же говорит: «Задумав целый ряд своих «Еврейских Песен», Мей запасся известной Библией Кагана с еврейским текстом; внимательно изучал ее и, когда вернул книгу владельцу, в ней оказались листки, исписанные рукою поэта, с еврейскими фразами, цитатами, образцами подстрочного перевода и проч. Таким образом обвинение, брошенное Мею вскользь в

шуточной форме, что он слагает еврейские песни, «по-еврейски не зная ни слова», является прямо клеветой...»

Несколько лет назад я справлялся у знатока древних семитических языков, проф. В. К. Шилейко, о тексте «Песни Песней». Строку за строкой читал он ее мне в буквальном переводе, и, когда я рядом приводил Меевский текст, оказывалось, что в смысле точности «Еврейские Песни» следуют за подлинною «Песнью Песней» в мере, превосходящей самые строгие требования от стихотворного перевода. Иное дело, конечно, форма. Здесь будет уместно упомянуть, что Мей хотел и мог передавать виртуозно звуки подлинника до мелочей, предвосхищая законы, формулированные в последние годы в брошюре Издательства «Всемирная Литература» покойным Ник. Ст. Гумилевым,—и чуть ли не исполняя парадоксальные максимы доктора Н. И. Кульбина [1]), выражавшегося так:

«Еще раз говорю вам, не переводите стихов, а пишите их иностранными буквами».

Форма у Мея, конечно, иная, чем в созданной по совсем другим метрическим законам подлинной «Песне Песней». Но благоухание колорита—то же. При этом на первый план следует поставить не первую и последнюю песни, и не наиболее знаменитую (между прочим, по безобразно-аритмичному романсу Римского-Корсакова), раннюю (по времени написания Меем) песню V:

Сплю, но сердце мое чуткое не спит...

Прекраснейшими, а вместе и наиболее близкими к тексту вышли у Мея не эти песни, но VII:

Кто это, ливаном и смирной,
Как дым из душистой кумирной.

С ее концом:

Скажите мне, дщери Сиона,
Видали ли вы Соломона
В короне под царским венцом?
Да?...
Нечего видеть потом.

II, с ее строфами:

Добрый мой, душевный мой,
Что ты не бываешь? и т. д.

---

[1]) Скончавшийся в мартовскую революцию художник и талантливый проповедник футуристического искусства во всех его отраслях и видах.

XI и XII, с их невыразимо прелестными enjambements:

Все шестьдесят моих цариц
И восемьдесят с ними
Моих наложниц пали ниц
С поклонами немыми и т. д.

Словно пальма, величаво
Наклонила ты главу...
Но, сестра,—поверь мне,—право,
Я все финики сорву и т. д. (См. Изборник)...

В последней пьесе курсивом выделены мною те ее изломанности, которые делают ее такой изысканно-горько очаровательной. Мей размещает в ней особенно-связанные между собою пары слов по разным стихам: «самой верхней», «чарой уст», — enjambements максимальные. За ними следуют: «От плода—лучший грозд»,—слова, расставленные по соседним строфам. Противоречие музыкальной паузы со смысловой здесь эффектно исключительно. «В тревоге старой сердце»—опять-таки enjambement. И к этому присоединяется нарочитая лепка ударений рядом в строке: «Я все финики», больно ломающая хореический каданс (в начале стиха мы имеем «антиспаст»—то-есть «ямбохорей»—ритмический ход, гораздо более редкий, чем в подобном же положении ямбического каданса хориямб. Пример последнего—в песне XI—«Все шестьдесят», «Перед тобой»). У Мея начальный хорей заменен ямбом также очень красиво в «Песне про боярина Евпатия Коловрата»: «С греческой царевной—душой Евпраксевной»). В предыдущей песне—тоже систематические (и очень интенсивные) enjambements, и, как мы в скобках указали, аналогичные XII песне ритмические особенности. Наличие этих аналогий как бы возвышает в следующую степень художественность этих Меевских приемов, хотя бы ни воспринимающий, ни автор, не чувствовали того, что они имеют дело с приемами.

Между прочим, в первой из приведенных нами песен, VII, ритмический излом Мея еще более смел. Здесь он повторно начинает строфы с замены амфибрахия дактилем:

Кто̀ это, ливаном и смирной,
Кто̀ это, рукой вожделенной,
Ты̀ это, моя голубица,

о возможности (и гармоничности) чего не приходит в голову составителям даже современных учебников по метрике,—а казалось бы, как поэтическая техника в наше время (в наше-то!) должна была уйти вперед.

Что касается того, что эти песни—восточные перлы чистой лирики,—то и этого виновник не только библейский поэт, давший им дух и

душу, но и Мей, облекший их непогрешимо-семитическою плотью на нашем индо-германском языке.

Добрый мой, душевный мой,—
Что ты не бываешь;
Где пасешь в полдневный зной,
Где опочиваешь?

Кто осведомлен, где в семитических стихах помещаются рифмы, на каких местах строки,—тот сумеет оценить не меньше, чем лексическую сторону «песен», наличие корреспондирующих «душевный» и «полдневный»—внутренних рифм.

Красоты остальных песен—все 13 написаны разным, неповторенным, ритмом,—более просты, более броски, на них незачем отдельно указывать читателю.

5

От переводов с еврейского—прямой путь к библейским композициям самого Мея.

Здесь и переложения Библии. Из них в изборник взят «Пустынный ключ», в котором к тексту книги «Исход» Мей присоединяет собственный конец, отождествляя забивший только тогда, когда люди возжаждали всем уже существом, ключ—с певцом, запевающим только, когда люди возжаждут всем сердцем.

Здесь и вполне оригинальные поэмы самого Мея на библейские темы. Интересно, что в «Самсоне» он сравнивает с древним атлетом современного поэта,—причем в образ его вложена Меем та же сила, что и в образ плененного иудея:

Но если б ты погиб и духом изнемог,
Но если бы тебя коварно усыпили,
И предали тебя врагам, и ослепили,
О... за тебя тогда заступится сам Бог,
И за тебя, за нового Самсона,
Во прахе разгромит все капище Дагона.

Мей любил такие концы, и даже отступления в середине поэмы в область гражданственную—далеко не всегда либеральную — из страны чистой поэзии. В этом смысле характерно—пожалуй, пророческое, как и предыдущее—место из поэмы «Отойди от меня, Сатана» (вследствие длины ее целиком в наш изборник не включенной).

Критика довольно справедливо указывала на слабость самого замысла этой поэмы. Действительно, религиозно-философская сторона, весь грандиозный символизм искушений Христовых — Меем вовсе даже не отмечен. У него взято из трех искушений только второе искушение — властью—без всякой связи с жизнью и подвигом Христа, без всякого, даже психологического, толкования его; просто ряд картин современной Христу эпохи, на разных местах земли, ряд чисто зрительных образов.

Зато некоторые из этих образов сами по себе прекрасны, хотя иные и несколько-бутафорски-феерични. Мы остановимся на одном из них:

Мимо... Север. Теряясь в безвестной дали,
Разметались широко поляны;
Смурой шапкой нависли туманы
Над челом побелелым холодной земли,
Нечем тешить пытливые взоры;
Снег, да снег, все один, вечно девственный снег,
Да узоры лиловые скованных рек,
Да сосновые темные боры.

До сих пор все прекрасно; каждый эпитет, каждый звук и штрих; две последние строки изумительны. Но вот дальше:

Север спит. Усыпил его лютый мороз,
Уложила седая подруга,
Убаюкала буйная вьюга...

(здесь дивная музыка гласных и согласных).

Не проснется вовек задремавший колосс,
Или к небу отчизны морозной
Приподнимет главу, отягченную сном,
Зорко глянет глазами во мраке ночном
И воспрянет громадою грозной.

Это не совсем хорошо в смысле стиля, здесь фигура пролепсиса, эстетически немотивированная: эпитет «грозной», сам по себе банальный, об'ясняется лишь в следующих, заключительных, строчках отрывка:

Он воспрянет и, долгий нарушивши мир,
Глыбы снега свои вековые
И оковы свои ледяные
С мощных плеч отряхнет на испуганный мир.

А это—прекрасно; потрясает и омонимная рифма («мир»—«мир»), и музыка гласных (чисто-русское, т.-е. северное, «ы»), и—будем ожидать—пророческий—пафос.

Рядом с этим—опять слабость:

Мимо... Словно младая наяда
В светлоструйном хитоне, с венчанной главой,
Из подводных чертогов, из бездны морской
Выплывает небрежно Эллада.

Во первых, эти ужасные «Мимо!» — ямщицкий какой-то выкрик, открывающий каждую картину. Совсем неудачно, почти кощунственно.

Потом—«младая», «главой»—из лексикона Жуковского и Батюшкова—для Мея непростительны. Бедная рифма (вой и кой) тоже не служит к украшению этого декоративного по образам отрывка. — Правда, что многое здесь найдено и чудесно: «светлоструйный хитон», «выплывает небрежно»—два крупные перла.

Пусть не упрекают меня в пристрастии к любимому поэту. Сознаюсь, что, несмотря на все недостатки этой поэмы, я ее люблю. Люблю за переливающийся анапест в парных строфах, каждая из которых в одном отношении противоположна (в месте, которое занимают мужская и женская рифма), а в другом тождественна со своею парой (в том, что мужской стих всегда четырехстопен, женский—трехстопен, и что стихи с одинаковой рифмой всегда окаймляют одни других), как двойная, блестящая, переменным светом звезда. Мне люб этот анапест и за то, что до Мея никто из поэтов наших не рисковал вообще на анапест в длинных поэмах (тому было «ибо». «Канон» мешал: во всем Пушкине только один анапест, в стихотворении «Три у Будрыса сына»—и то переводном из Мицкевича). И за то, что анапесты Некрасова, более поздние («Вот парадный под'езд. По торжественным дням» и пр.), ритмически сильные, много всетаки уступают в крепости Меевским. Люба мне поэма за неисчислимые декламационные достоинства, звуковые и образные, как благодарнейший материал для голосовых эффектов, как неиссякаемый источник для наслаждения живым словом. Любы мне и отдельные перлы ее, как отмеченные здесь: «светлоструйный хитон», «смурой шапкой нависли туманы над челом побелелым холодной земли» (какое музыкальное очарование!), «да узоры лиловые скованных рек, да сосновые темные боры», или такие строки: «Смуглоликих наездников рыщут толпы; воздух встречу им пламенем пышет, а по воздуху Марево пишет стены, башни, палаты, мосты и столпы». Между прочим, у Ал. Толстого явное подражание последним строкам в его прекрасном: «Ассирияне шли, как на стадо волки, в багрец их и злате сияли полки, и далеко их копья сверкали окрест, как в волнах галилейских мерцание звезд»...

Но, всетаки, пусть меня не упрекнут в пристрастии. По своему варварству, конец, поэмы достоин приводиться в хрестоматиях дурного вкуса (если такие будут). В почтовом ящике «Всемирной Иллюстрации» или «Сатирикона». Нарисована Капрея (Капри). В конце картины изображен

«Старец в пурпурной тоге, с змеей на груди», задремавший
«среди сонма лаис и глицерий».
. . . . . это сам
Сопрестольный, соравный бессмертным богам,
Властелин полусвета, Тиверий.

И, непосредственно за этим, поэма заканчивается:

«Падши ниц, поклонись. И отдам все сполна
Я тебе»... говорит искуситель.

Отвещает небесный учитель:
Отойди, отойди от меня, сатана!»

C'est tout! Я не на стиль обращаю тут внимание (хотя «надми» и «отвещает» рядом со «сполна»—вопиет от бесвкусицы к небу. Недурны и «лаисы» с «глицериями»)... Нет, но вдумайтесь в весь комизм, во всю о п е р е т о ч н о с т ь этого окончаньица! «Любезный, мне и даром не надо твоего Тиверия, Господь с ним, а не то, чтобы я за него поклоны стал отвешивать!» Ведь это вот что!

Позор! Это плохой балаган с панорамою разных частей света и с актерами—буфф, переодетыми Сатаной и Богом. Этого ли хотел Мей, глубоко, бесхитростно-веровавший христианин?

Такие провалы художника в Мее наводят на грустную аналогию с одним из поэтов наших дней, Игорем Северянином. Правда, у Мея нет напомаженных залихватски усов «кандидата на классный чин», нет шоффферского мировоззрения этого талантливейшего «эго-футуриста». Но беспомощность в изображении всего, что выходит за сферу только поэзии, всего, что хоть как-нибудь затрагивает струны иного диапазона, чем определенные ей, этой чистой поэзии,—у обоих поэтов одинаковая. Философия, которая шире т о л ь к о искусства (так, что искусство—один из видов философии), невидимо присутствует на заднем фоне творчества не только таких поэтов, как задумчивый Фет, как мыслитель Тютчев; не только у глубинного Лермонтова, но и у легкомысленно-мудрого Пушкина, даже у трезвого Некрасова, даже у такого (ведь сомнительного) поэта, как Вал. Брюсов; у такого (ведь неумного же), как Бальмонт. Кузмин, поющий

Нам философии не надо
И скучных ссор,—

Кузмин, философии враг,—всетаки не избегнет ее—хотя бы в этой самой с нею вражде. А Мей, автор приведенного восьмистишия: «Не верю, Господи, чтоб ты меня забыл», философии так органически чужд всем своим существом, как—кроме Северянина, мне решительно никто не приходит в голову... Северянина, серьезно пишущего в излюбленном современными декламаторами стихотворении: «Сжигают душу на костре страданья—но п и с ь м а сжечь!—Этого я никак от тебя не ожидала» (кажется, так). Северянина, говорящего: «Когда и з м о з г л ы м приговором меня ославил Лев Толстой», или «Я хочу п о п у л я р и т ь и з ы с к и», и не понимающего, как он при этом противно смешон.

Черта из жизни Мея: из его квартиры, скоро ставшей центром литературной и артистической богемы, всякие разговоры на политические, религиозные и философские темы были раз навсегда изгнаны.

Что же до его авторства названного восьмистишия, бывшего мне религиозно-философским откровением, то поэт в нем нисколько не виноват: оно, резюмирующее его вдохновенную жизнь, было ему подарено,

пришло свыше. В Мее сильна была бессознательная, трудно проявлявшаяся, но крепкая и подлинная религиозная стихия. Крепким молитвенникам даруются за веру их «адамантовые слова».

6

Сами за себя говорят остальные, великолепные, стихи из библейского отдела. Замечательна красота созданных Меем строф «Притчи пророка Нафана» или «Эндорской Прорицательницы» (тоже парных); кстати, это стихотворение опять имеет конец, предназначенный для связи его с современностью:

. . . . . .
То царство распадется в прах,
В пучине зол и бед потонет,
Где царь пророков вещих гонит
И тщится мысль сковать в цепях.

И поднял он покров над ликом...
Саул восстал с безумным криком...
А утром бой был, а потом
Саул пронзил себя мечом
В урок неистовым владыкам.

Расположение рифм здесь аналогично испанской строфе (употреблявшейся, главным образом, в драматической поэзии) т. н. кинтилье (от quinte—пять). Расположение же стоп в строфе «Притчи»:

В венце и порфире, и в ризе виссонной,
Внезапно покинув чертог благовонный,
Где смирна курилась в кадилах невольников,
Где яства дымились пред сонмом состольников,
И в винах сверкали рубин и янтарь,
Где струны псалтирные славили Бога,
На кровлю чертога
Взошел псалмопевец и царь,—

оригинально до предела, и аналогично в некоторых отношениях лишь другим, Меевским же, строфам («Галатеи» и «Альфуса»).

Так же пышна строфа и псалма «На реках вавилонских». В своей статье «Памяти Мея», в «Аполлоне», 1912 года, я указывал, что в особенности Мея писать всякую поэму новою строфой нельзя не видеть бессознательно жившей в поэте традиции средневековья, миннезингеров, певших каждый неизменно своею, изобретенной им самим, строфой, и что разница с теми (в пользу его!) в том, что Мей для каждого почти стихотворения создавал строфу новую и для него самого, и

наконец, что в пристрастии его к изысканной строфе видится черта, сближающая Мея с новейшими, современными нам, русскими поэтами.

Версификационная сторона в поэмах «Слепорожденный», «Юдифь», «Отроковица»—более проста. Имеем в них (по порядку) четырех, пяти и шестистопный ямбы, на строфы не разделенные. Но раз я заговорил о ритмике, я не могу удержаться, чтобы не сказать по поводу этого следующее. Современным поэтам известно, во-первых, что писать ямбы без строф—трудное, редко кому доступное, искусство. И во-вторых, что кажущаяся простота этих ямбов, проанализированная по весьма подходящему для анализа нестрофических ямбов методу Андрея Белого, дает самые благоприятные результаты в смысле сложности графического чертежа ритмических ходов в этих поэмах. То-есть, что ритмичность Мея в этих, нехарактерных для него, размерах, все-таки соперничает с виртуозностью мастеров внешне-простого ямба—Тютчева, Фета.

И загремел по Палестине
Глас вопиющего в пустыне.
Изнеможенный нищетой,
Он—вифсаидец. Мать пустыня
Ему злой мачехой была
И на страданье обрекла
Без облегченья, без прощенья...

Как подобные отрыки несхожи с бедными по ритму стихами р а з о б л а ч е н н ы х Андреем Белым, Бенедиктова и даже Майкова, скудно одаренных богом искусства от рождения!

Какое богатство выразительной силы языка в так просто намеченном, почти суровом, контуре конца «Юдифи»:

Велик наш Бог. Воспойте песнь ему.
Погибнул враг от Божья ополченья,
И м а л о ж е р т в и м а л о в с е с о ж е н ь я,
Д о с т о й н о г о в л а д ы к е м о е м у...

Курсивом привел я это изумительное «мало», употребленное здесь в смысле «нет». Какая неповторяемая красота и тонкость языка!

Оригинальные по замыслу «Жиды» и «Подражание Восточным», глубоко-трогательные своим непосредственным чувством, младенческою душою поэта, глядящею сквозь них, эти вещи достойно заключают библейские мотивы Мея, как отголосок, запевший внутри самого поэта, после прилежного его труда над образцами поэзии ветхого завета.

Количество бумаги, отведенное по условиям нашего времени под книгу, мне не оставляет места подробно говорить обо всех мотивах поэзии Мея,—пусть лучше стихи его говорят за себя. О совершенстве его «Фринэ», о статуэтках-танаграх, которые поэма напоминает, о волшебной игре звуков в конце «Цветов» я говорил в упомянутой статье «Аполлона»,—повторяться не буду. Замечу, что с большою грустью выбросил я из изборника начало (целых две трети) этой последней, превосходной, поэмы Мея—все из-за того же проклятого отсутствия бумаги. Там есть такие изумительные строки, как это, волнующе-безукоризненное описание Поппеи.

В тот день Поппея ездила с утра [1])
По форуму; рабы ее бежали;
Испанские мулы ее теряли
Подковы из литого серебра;
Чернь жадная квадригу окружала,
Кричала «Vivat!» простиралась ниц...
Потом Поппея ванну заказала
Из молока девятисот ослиц...
. . . . . .
Гибка, стройна, как тонкая лоза,
С приемами застенчивой девицы,
Поппея на стыдливые глаза
Склонила белокурые ресницы.
Казалось, эти детские уста
Одни приветы лепетать умели
И в этом взоре девственном светлели
Одни любовь, невинность, чистота...
Но кто знавал Поппею покороче,
Не верил ни в уста ее, ни в очи.

Самый суровый ненавистник Мея преклонится перед этими изумительными во всех отношениях стихами. Чтобы быть вполне беспристрастным, я должен сознаться, что до конца выдержаны среди а н т и ч н ы х вещей Мея лишь некоторые «камеи», две из которых приведены здесь.

К е с а р ь О к т а в и й-А в г у с т и Ю л и я

Ты на Юлию смотришь художником,—
Не отцом: ты прямой сибарит,
А не римлянин ты...
Над треножником
Аравийская мирра горит:

---

[1]) Стих совершенен; гиатусов нет: ея, е могут стоять рядом, так как это вовсе не три гласные подряд, но гласные, разделенные согласной J (йот).

Мягко ложе твое постилается:
Смело смотрит в глаза тебе дочь...
Вся туника на ней колыхается;
В очи глянула римская ночь...
Что Требония, Ливия, Лидия?
Ты им скажешь наверно: «прощай»,
И наверно—Назона Овидия
Ты сошлешь на холодный Дунай...

Кесарь Клавдий и Агриппина

Голоден Кесарь... «Да что же рабы!
Скоро ли будут готовы грибы?»
Скоро: сама Агриппина готовит...
Повар, что Гебу, ее славословит.
Прямо в собранье бессмертных богов
Явится Кесарь, покушав грибов...

Дивную и легкую, как Божий зефир, «Плясунью» несколько портит поучительный конец в Меевском стиле: «и тедескою стала навек, чтоб в тебе под воскреснувшей фреской вечность духа прозрел человек» (и для чего только нелогический поэт пытается философствовать!) Но все-таки эта «фреска»—одно из лучших в русской поэзии, и первое по времени, стихотворение, в котором пантомимический момент, динамика пляски, передана словом не в одних образах, а в самом строении слова, как такового. Превосходными последователями Мея в «Плясунье» явились поэты наших дней, Юрий Верховский, с его:

Сестры, сестры. Быстро, быстро. Вместе, вместе. Вслед за ним.
Сладостным шопотом, благостным ропотом, радостным топотом—
вдруг опьяним.

И Мих. Кузмин, с его: «Кружитесь, кружитесь, держитесь крепче за руки, звуки звонкого систра несутся—несутся, в рощах томно они отдаются»...

В «Галатэе», этом неувядаемом венце декламационного искусства, есть совсем слабые строки (опять-таки те, где играет роль философия):

И перед нею, своей вдохновенною свыше (?) идеею

или:

. . . . . Творенью проклятия
Грянет (?) безумный творец.

Вопросительным знаком отмечена нами простая... бессмыслица.

Совершенно недопустимы народные русские формы на «ся» в мраморе античных стихов: «Растопилася мрамора масса», «Вся обливаяся

розовым блеском», «Алые губы раскрылися». Некрасиво и «что струя серебристая, тихая речь потекла». За то как поразительна первая строфа поэмы. Сколько страстной мощи в восклицаниях ваятеля: «Душу ей, душу, живую... Душу вложи ей, Зевес!» «Вижу тебя, богоданная»... «—Боги!—молил в исступлении страстном ваятель.—Ужели жизнь не проснется в таком обаятельном теле. Боги! пошлите неслыханной страсти конец. Нет, ты падешь, Галатэя, с подножия в эти об'ятия»...

Есть недостатки и в «Фринэ»: несоблюдение гекзаметровых цезур, и даже один (убийственный!) семистопный дактиль, вместо гекзаметра:

«Я согласился (!)... Мрамора глыба такая, что только бы нимфе»!

и один пятистопный:

«Прошлой зимою...—Налей мне вина из патэра»...

(Сам по себе этот стих прекрасен. Отсутствие стопы можно даже об'яснить паузой).

Зато, опять-таки, как невыразимо-чудесен весь конец поэмы, начиная со строк:

Многих она обманула, а прочих обманет жестоко:
Темную душу не всякий провидит сквозь светлое око.
—С этого самого утра Гнатэна с ваятелем—розно.
Может быть, он и раскаялся... только раскаялся поздно...

Шестистопный анапест, избранный в поэме «Видение», описывающей ночь Рождества Христова, как ее проводили в метрополии—Риме Августа—необычен в русской поэзии. Ни до, ни после Мея, вероятно, никто не пользовался таким точно размером (с женскими белыми окончаниями). В древне-греческих трелических хорах подобный анапест встречался,—но копирование его Меем нельзя признать особо удачным: анапест пригоден для таких частей хоров, при которых хор двигался (эксоды и пароды); это же—связный рассказ о событии, который непременно исполнялся бы во время стасимон,—нахождения хора неподвижно на оркестре. Анапесты у Мея здесь тем более неудачны, что часто имеют в начале лишний ударенный слог, чем вызывают в памяти дактили и неудобны, следовательно, для чтения, сбивая декламатора на привычный для него гекзаметр (типа Гнедичевского перевода Илиады),—а гекзаметра все-таки не получается.

Другая пьеса «Обман» написана ритмичным пятистопным ямбом, и в этом отношении, пожалуй, выше «Видения». В ней Мей изобразил трагикомический случай из римской истории—поддельную казнь кесарем Галлиеном придворного серебряника за подделку рубинового ожерелья. Но после «Цветов» поэмка эта звучит их слабым отголоском, вялым повторением.

Рядом с «Плясуньею» сильно проигрывает другая, неяркая фреска Мея—«Дафнэ». Между тем, она, выдержанная в простом шестистопном ямбе, выдержана и в других отношениях до конца, а в смелом стихе:

Когда окорнилась летучая нога,

Мей предвосхитил словоновшества наиболее удачного стиля русских поэтов XX века. Но, повторяю, она не так ярка, как ее соседка, и недостаток места заставляет ею пожертвовать.

Слабее всего из «Античного мира» Мея его посвящение «Муза», благодаря наличию пентаметров, смешанных с гекзаметрами неканонически.

8

Многословнее и неудачнее другого «русский отдел» в поэзии Мея, «Былины, сказания, песни». Здесь, действительно, встречаются песни, в которых Мей, по меткому выражению одного критика, «завывает á la Аполлон Коринфский» (современный русский стихотворец). Здесь, поистине, приходится прежде всего «отжимать» поэзию от воды, которую лил хотевший зарабатывать на жизнь стихами поэт в погоне за строчкой.

Но, с другой стороны, ни в каком другом роде, присущем поэзии Мея, не были так применимы его знания и любовь к русскому простонародному говору, к старинному русскому языку, к метким народным словечкам и оборотам. Это во-первых. Даже в самых растянутых его песнях и былинах погребено множество подлинных драгоценностей чистого искусства и яркого фольклора.

Во-вторых, изумительного ритмического богатства во всех вещах «в русском стиле» у Мея—хоть отбавляй. Укажу для примера, что все его песни написаны разными, и все им созданными, размерами. Что ритм, да и тема, Меевского «Хозяина», повторены через 17 лет Некрасовым в его знаменитой «Катерине», подсознательно отпечатлевшись в мозгу этого ярчайшего из народных наших певцов. Что строфа «Вихоря» с его второй полустрофой, разрешающей рифменное задание первой половины (порядок a, b, c, d, a, b, c, d), прозвучала впервые в русской поэзии именно у Мея, и что затем ей удачно подражал Валерий Брюсов (не имеющий права не причислить Мея к числу ближайших своих учителей). Что в песнях про княгиню Вяземскую и Евпатия Коловрата, и в Слове о Полку Игореве, Мей удачнейшим образом играет гипердактилическими окончаниями в истинно-народном духе, не уступая «Песне о купце Калашникове».

Прекраснейший «Леший»—пожалуй, наиболее выдержанная вещь в этом роде у Мея:

И травка и муравка,
И первые цветочки,
И первые на волю
Пробившиеся почки,

и т. д., особенно же окончание поэмы, о котором я говорил в упомянутой статье в «Аполлоне». Из коротких песен я выделяю наиболее «По грибы», написанную для оперы Балакирева «Ивановская ночь». Хороша и песенка в «Оборотне»:

Ох вы, зорьки несподобные!
Клетка к клетке пригнан сот;
Обвощен, что слезы дробные,
Из-под каждой каплет мед;
А пройдет пора медовая:
Улей скутан, выбран сот,
Пчелки спят,—и чернобровая,
Хоть и с милым, а заснет...»

Много хорошего, подлинно русского и древнего и в «Александре Невском», хотя эта вещь на первый взгляд производит, перечнем эпизодических имен, впечатление какой-то детскости. По справедливости, поэма «Русалка» пользуется широкою популярностью в декламаторских кругах. Местами она изобразительностью языка достигает прямо-таки непревзойденного совершенства.

9

В изборник стихов на первый план я поставил Мея—лирика, такого, как он есть сам по себе, без всякой стилизации, русской, античной или еврейской древности. Эти вещи его по форме не так виртуозны, и даже неоригинальны. Он пишет октавы, секстину (первый по времени, после него рискнули на эту форму только модернисты),—формы трудные, но в западно-европейской поэзии обычные. Примечательно, что у Мея (как из новых—у Блока) ни одного сонета нет.

Во всех этих вещах трогает подлинная, простая, истинная, задушевная лирика. Жаль, что место не позволило привести поэму «Дым», тема которой использована некоторыми модернистами в недавнее время (между прочим, см. «Дымы» Ивана Коневского). За душу хватает «питерская» поэзия этой пьесы, в конце которой Мей, может быть, единственный раз (незадолго до смерти) возвышается до мысли, действительно сильной и с к а з а н н о й [1]):

Да! есть глубокий смысл в сравненьи простодушном
Всей нашей жизни сей с тобой, полувоздушным.
Да! есть глубокий смысл в предании святом,
Из века в век таинственно хранимом,
Что весь наш грешный мир очистится огнем
И в небесах исчезнет дымом.

Петербуржцы, несомненно, без слез, подступающих к горлу, не смогут прочесть стихотворения «Знаешь ли, Юленька»...

«Талыми зорьками, пеночной, Невкой, березами
Нашими детскими—нет, уж не детскими грезами...»

[1]) Конечно, Мей, как человек не был чужд стихии ума; чужда его только п о э з и я. Он имел мысли глубокие и ясные,—их не удавалось ему с к а з а т ь.

Но не только «питерцы», а и все, сколько-нибудь чуткие к поэзии люди остановятся с тихим восхищением перед очарованием его «Сумерок» (опять-таки несколько испорченных концом—к чему он! Музыкально задана пятая строфа, но не такая, не головная, чуждая этому п о э т у с е р д ц а).

Место не позволило мне выписать и другие прекрасные стихотворения Мея—современника своей эпохи, запечатлевшего частные черты ее быта так, что они стали вечными. «Покойным», «Церера», «Друг мой добрый», «Когда она на миг вся вспыхнет предо мною», «С картины Ораса Вернэ», «Ау—Ау», «Зяблику», «Чуру», «Милый друг мой», «Фейерверк»... В обоих последних стихах, впрочем, опять тщетная борьба поэта с неподдающеюся ему для выражения стихиею—мыслью. А как хороша «Канарейка»:

Говорит султанша канарейке:
— «Птичка! Лучше в тереме высоком
Щебетать и песни петь Зюлейке,
Чем порхать на западе далеком.
Спой же мне п р о з а-м о р е, певичка»...

Пленительны эти строки.

10

Относительно «Псковитянки» и «Царской Невесты», пьес Мея, не сходящих с репертуара и в чистом виде, и в виде канвы для опер Римского-Корсакова (использовавшего в качестве либретто и третью, неудачную, пьесу его «Сервилия»), в критике сказано было уже довольно многое, почти безусловно хвалебное, и мне, чуждому театра вообще, высказывать своих мнений нет надобности. Вдамся лучше опять в автобиографию.

Это было тогда, когда я был еще почти вдвое моложе, чем в 1900 году—было мне только семь лет. В нашей квартире, обладавшей поместительным залом, однажды устроили какой-то благотворительный концерт. Задолго до вожделенного дня дивились мы, дети, прокатному роялю-мастодонту, предназначенному загреметь под рукою настоящего пианиста и внесенному заранее в комнаты. Наконец, торжественный час настал и я получил разрешение сидеть на диванчике, смотреть и слушать концерт до конца.

Сравнительно малое впечатление произвели на маленького музыка и пение. Я, вероятно, готов был уже задремать под сладкие звуки Шопена,—как вдруг раскрыл глаза, рот, окаменел, застыл и перенесся из городской своей детской обстановки куда-то далеко, во времени и в пространстве. Я слушал:

Не из лесу бегу, а прямо в лес.
Трущоба, глушь. А сучья, словно руки,

Так вот тебя за полы и хватают...

. . . . . .

Приподняла я голову, подходит:

. . . . . .

Долгонько спалось, гостья дорогая.
А нам бы вот доведаться...

Горбатая женщина, сидевшая на стуле, из уст которой лился этот волшебный рассказ, каждый звук которого врезывался в мозг и душу, сладко до боли волнуя и потрясая, была покойная великая артистка Стрепетова. А то, что она читала, было, как я много лет спустя узнал, перелистывая ставшего уже моим любимым поэта, было не чем иным, как диалогом Веры и Надежды из „Псковитянки» Мея.

Вся кровь бросилась мне в лицо, когда я установил тождество автора создавшего во мне п е р в о е неизгладимое эстетическое впечатление, с поэтом, давшим мне на рубеже юношеского возраста такое незабываемое откровение.

Надо ли говорить, что дивная читка Стрепетовой много способствовала зачарованности моей в тот первый, прослушанный мною концерт:

«Мужовая жена,
Аль, красная девица, обзовися:
Мы до-дому проводим»...
«Надя,
Да ты скажи мне: как же не любить-то?
Душа из тела рвется...»
Я шатнулась,
И о косяк ударилась плечом,
А самое трясет, как в лихорадке...»

Если бы Стрепетова была современницей Мея, он посвятил бы роль ей и самую драму.

11

Краткие биографические сведения о поэте, родившемся 13 (25) февраля 1822 года, умершем 16 (28) мая 1862 года, можно найти в той же статье в журнале «Аполлон». Более подробные—в издании сочинений Мея под редакцией П. В. Быкова (Маркс) и более раннем, под редакцией В. Р. Зотова. Рекомендую прочитать также в «Русской Старине» 1911 года воспоминания сестры жены Мея, А. Г. Полянской. Есть материалы в записках С. В. Максимова, помещенных в 1887 году в «Русской Мысли». Ни эти, ни другие материалы не использованы никем (Максимова цитирует, впрочем, П. В. Быков). Какая же впрочем, нужно биография поэта, когда созданное-то им до сих пор остается неведомым, когда мало-мальски обстоятельного, не ограничивающегося набором общих фраз, разбора всего творчества поэта, никем до сих пор не сделано.

Все—или почти все—в один голос критики говорят, что с ростом народа и общества Мей дождется когда-нибудь подлинного внимания к себе и истинной оценки. Говорят, но не производят кропотливой работы, требующейся для этого.

Младшему современнику и товарищу в жизни Мея, во многом ему обязанному, Аполлону Григорьеву, посчастливилось за последние годы куда больше: не только потому, что его сочинения проредактировал наш крупный современник, недавно отошедший от нас поэт А. А. Блок, но и потому, что другой поэт, Вл. Княжнин, добросовестнейшим образом собрал толстейший том мельчайших «материалов к биографии Аполлона Григорьева».

Мей прожил сорок лет,—срок жизни двух крупных поэтов, также особенно дорогих моему сердцу: Эдгара По (1809—1849) и Александра Блока (1880—1921). Не буду сравнивать его с ними. Но пожалуюсь, как больно ударили меня слова одного современного критика, по поводу Некрасовского столетнего юбилея: «Одно время,—с издевкою говорит этот критик,—считались выше Некрасова *даже такие* поэты, как Мей и Щербина».

Выше ли, ниже ли Мей Некрасова—дело не в росте, не в местничестве. Дело в том, что «орлам случается и ниже кур спускаться», и что и Некрасов, и Мей были такими орлами. Дело в том, что поскольку бессмертен русский язык, постольку бессмертны же и классические в своих вершинах—низко падавшие в своих промахах—русские поэты: и Мей, и Некрасов. «За песни красоте свободного певца»,—вот за что дано Мею это бессмертие.

Вл. Пяст

ИЗБОРНИК СТИХОВ

I

ЛИРИКА

---

*

Нѐ верю, Господи, чтоб Ты меня забыл,
Не верю, Господи, чтоб Ты меня отринул:
Я Твой талант в душе лукаво не зарыл
И хищный тать его из недр моих не вынул.

Нет! в лоне у Тебя, художника Творца,
Почиет красота и ныне и от века,
И Ты простишь грехи раба и человека
За песни красоте свободного певца.

1857.

СУМЕРКИ

Оттепель... Поле чернеет;
Кровля на церкви обмокла;
Так вот и веет, и веет—
Пахнет весною сквозь стекла.
С каждою новой ложбинкой
Водополь все прибывает
И ограненною льдинкой
Вешняя звездочка тает.
Тени в углах шевельнулись,
Темные, сонные тени,
Вдоль по стенам потянулись,
На пол ложатся от лени...
Сон и меня так и клонит...
Тени за тенями—грезы...
Дума в неведомом тонет....
На сердце—крупные слезы.
Ох, если б крылья да крылья,
Если бы доля да доля,
Не было б мысли: «бессилье!»
Не было б слова: «неволя!»

1858.

ДЕРЕВНЯ

I

Они прошли, прошли, былые дни
Спокойствия вдали от шума света!
Когда ж опять вернутся к нам они?
Конечно, мы дождемся снова лета
И двадцати трех градусов в тени,
Но эта лень, невозмутимость эта—
Не верится, что вновь когда-нибудь
Мы усладим ей жизненный наш путь.

Я восставал на жизнь тех домоседов—
Помещиков, которые, что ай
В своем дупле, в углу отцов и дедов
Сидят весь век, чем их ни вызывай.
Теперь их лень я понял... Грибоедов
Давно сказал: «деревня летом—рай!»
Да, в хорошо устроенных именьях
Блаженна жизнь, как в праведных селеньях.

Вы помните?.. Бывало, мы в саду
Сидим в тени; по листьям ветер жаркий
Лепечет что-то, как больной в бреду;
Над нами вяз темно-зеленой аркой
Спускается; луч солнца по пруду
Бежит струей чешуйчатой и яркой;
Рой пчел жужжит на полевых цветах,
И воробьи чиликают в кустах.

Сидим... В руках дымятся папиросы,
А лень курить,—лениво ищет взор
Знакомых мест: вот нивы, вот покосы,
Дорожка на зеленый косогор...
С малиной и клубникою подносы
Нетронуты стоят, и разговор
Чуть вяжется... не худо б прогуляться,
Да как с скамьей дерновою расстаться?

Вот, вечером...

II

Да: вечером пришлось
Приписывать к былому полустишью;
Но сколько лет меж нами пронеслось,
Но как давно покровскому затишью
Я стал чужой, и как давно мы врозь?..

Не сельской я, а городскою мышью,
По чердакам, не в зелени полей,
Гложу листы... печатанных статей.

Конечно, пища вовсе не дурная,
И много пользы от нее подчас;
Но всетаки, о прежнем вспоминая,
Я умственно не отводил бы глаз
От оных мест потерянного рая
(Не Мильтона—могу уверить вас!),
Где услаждали молодость не книги,
А лес да луг с живою змейкой Скниги.

И точно: речка чудно хороша
По вечерам... Тогда жара отхлынет,
И, полной грудью на воду дыша,
Зеленый берег понемногу стынет:
То ветвь сосны, то стрелку камыша
Прозрачной тенью в воду опрокинет,
И тень за тенью—стройны и легки—
Лениво тонут в пурпуре реки.

Как весело тогда по косогору,
Промоиной песчаной, на коне
Взбираться вверх к темнеющему бору
И кланяться то ели, то сосне,
Чтоб веткою колючей, без разбору,
Не наклонялись, сонные, они...
Но вот и гребень глинистый обрыва,
Багровый весь от зорного отлива,

И что за вид оттуда за рекой!
Не знаю—вам, а мне тоска сжимала
Всю внутренность рукою ледяной,
Когда с обрыва я глядел, бывало,
Вниз на реку... Зато, о, Боже мой!
Рвалася вон душа и ликовала,
И призраком казалася печаль,
Когда смотрел я за реку, в ту даль...

В ту даль, где я оставил много-много
И радостей и жизни молодой,
Куда вилась знакомая дорога...
Но я боюсь вам надоесть собой,—
Забылся я: простите, ради Бога!
Мы с вами на обрыве, за рекой...
Уже темно. Огни зажглись в избушках,
Заря погасла на лесных верхушках.

Под нами сетка из цветов и трав,
Весною опрокинутый стаканчик,
Льет запах ландыш, под кустом припав,
И мотыльком порхает одуванчик;
И, к холке ухо левое прижав,
Мотает мордой ваш гнедой Буянчик—
Упрямится,—нельзя ль щипнуть травы,
Да не дают: его упрямей вы...

Хоть несколько боитесь, если ухо
Прижмет он к холке... А домой пора,
Пока росы нет на́ поле и сухо...
Вот лай собак с господского двора
И стук колес донесся нам до слуха:
К вам гости—и, наверно, до утра!
В галоп, Буянчик! право, опоздаем:
Чу! десять бьет—все общество за чаем...

1849.

ЗНАЕШЬ ЛИ, ЮЛЕНЬКА?

Знаешь ли, Юленька, что мне недавно приснилося?..
Будто живется опять мне, как смолоду жилося;
Будто мне на́ сердце веет бывалыми вёснами:
Просекой, дачкой, подснежником, хмурыми соснами,
Талыми зорьками, пеночкой, Невкой, березами,
Нашими детскими... нет!—уж не детскими грезами!
Нет!.. уже что-то тревожно в груди колотилося...
Знаешь ли, Юленька?.. глупо!.. А все же приснилося...

1860.

ОГОНЬКИ

(Посвящается Аполлону Александровичу Григорьеву)

По болоту я ржавому еду,
А за мною, по свежему следу,
Сквозь трясину и тину, по стрелкам густой осоки,
Кудри на́ ветер—пляшут кругом огоньки.

Разгорелись и, в пляске устойкой,
Оземь бьются они перед тройкой,
То погаснут, то вспыхнут тревожно по темным кустам,
Будто на́ смех и страх ошалелым коням.

Отшарахнулись кони, рванулись;
Гривы дыбом, и ноздри раздулись!

Чуют, верно, своей необманной побудкой они,
Что не спросту в болоте зажглися огни...

Не глядел бы, болотная пляска
Для меня—только мука и тряска,
И не верю я в душу живую болотных огней;
И в трясину свою не сманить им коней.

Знаю их—без покрова и гроба:
Душит их пододонная злоба,
И честной люд и Божий весь мир ненавидят они...
Погоняй-ка, ямщик!..
Но теснятся огни,

Забегают пред тройкой далече,
И ведут со мной шопотом речи
На глухом, да понятном и жгучем своем языке:
«Благовестная тайна горит в огоньке!—

Говорят...—Всепрощающей силой—
Колыбель примирилась с могилой...
По зажорам, по прорубям, рытвинам, омутам, рвам,
Не придется плясать уже нашим детям.

Наша мука детей искупила,
И теперь мы—не темная сила:
Мы надеемся, верим и ждем нашей пытки конца,
Чтоб зажечься в чертоге у Бога-Отца».

По болоту я ржавому еду,
А за мною, по свежему следу,
Сквозь трясину и тину, по стрелкам густой осоки,
Кудри на ветер—пляшут кругом огоньки.

8 мая 1861 г.

ЧЕТЫРЕ СТРОКИ

Нет предела стремлению жадному...
Нет исхода труду безуспешному...
Нет конца и пути безотрадному...
Боже милостив буди мне грешному.
1861.

НА БЕГУ

В галлерее сидят господа;
Судьи важно толкуют в беседке;
А народу-то сколько—беда:
Словно вешние мошки на ветке.

На обои перила реки
(Еле держат чугунные склепы)
Налегли всем плечом мужики,
Чуйки, шубы, поддевки, салопы.
И нельзя же: бег на десять верст!
Ходенем все пошло в ожиданьи:
Поднял дьякон раздумчиво перст,
Погрузился в немом созерцаньи:
Бьются трое купцов об заклад;
Тараторят их три половины.
И глядят сотни глаз и глядят
На залитые в яхонты льдины,
На воткнутые в ярком снегу
И столбы, и с веревками стойки,
И знакомые всем на бегу
Призовые удалые тройки.
Что за стати у бойких коней!
Что за сбруи, за легкие сани!
А наездник-от, ей-же-вот-ей,
Вон, вон этот в нарядном кафтане:
Уж хорош больно!..
Я сквозь толпу,
Хоть бокам и была перебойка,
Пробрался-таки прямо к столбу...
Это что же за новая тройка?
Не видали...
В корню калмычок,
Две донечки дрожат на пристяжке;
У задка сел с кнутом паренек.
И в санях и во всей-то запряжке
Ничего показного на глаз.
Сам наездник, быть-надо, в харчевне...
Знать, в почном побывал он не раз
Да и вырос в глуши на деревне,
Что с дружками ему на бегу
Надо выпить пар с двадцать чаёчку?
Так и есть: вон лежит на снегу
Рукавица по кисть в оторочку.
Так и есть: вон и сам он в дверях
У харчевни. Легок на помине!
Астраханка на черных бровях,
А дубленка на серой овчине.
Ждут звонка... Чу!.. Никак и звонят?..
Чу! В судейской самой прозвенели..,
Тройки чинно сравнялися в ряд—
И последний звонок.
Полетели.

На дугу, на оглобли, гужи,
На постромки все в раз налегая,
Понеслися, что в вёсну стрижи,
Дружка дружку шутя обгоняя.
Только новая все отстает
Больше, больше, и вовсе отстала,
А с наездника, как поворот,
Шапка нàземь грехом и упала!..
А он что же? Он тройку сдержал,
Поднял шапку, на брови надвинул,
У парнишки-то кнут отобрал,
Стал на место, как крикнет—и сгинул...

Боже, Господи! Видишь во дню,
А не то, чтобы ночью, с постели:
Словно вихорь завился в корню,
А в уносе-то вьюги-мятели!
Закрутили весь снег, понесли
В изморозной сети, без догони,
До столба, до желанной дали...
Донеслися—и фыркнули кони...
И далеко ж умчались они
Ото всех, хоть и все догоняли
И догнали, что ласточку пни,
Да и то запыхались—устали...
А они?.. Нà—возьми—подавай
Хоть сейчас ко крыльцу королевне.
А наездник?
Прости, брат, прощай!..
Знать, пирует с дружками в харчевне.

13 февраля. Петербург (1862).

II

РУССКИЕ СКАЗАНИЯ И ПЕСНИ

ЛЕШИЙ

Двойным, зеленым строем,
Вдоль узкого проселка,
Под снежной шапкой дремлет
И сосенка и елка;

Осина коченеет
И дрогнет от мороза,
И вся в слезах алмазных
Плакучая береза;

Их предки—в три обхвата,
Поодаль от опушки,
Взнесли над молодежью
Маститые макушки;

Вдали дубняк; да леший—
Всех выше головою:
Рога торчат сквозь космы;
Копыта под землею...

То всех деревьев выше,
Но ниже мелкой травки,
Что топчут чуткой ножкой
Букашки и козявки;

Владыка полновластный
Зеленого народа,
Он всей лесной державе
Судья и воевода.

Зимою он сугробы
В овраги заметает,
А тропки и лисицам
И зайцам прочищает;

И снегом он обносит
Берлогу медвежонка,
И вьет мохнатой лапой
Гнездо для вороненка;

И волку-сыромахе
Он кажет путь-дорогу,
И, на смех доезжачим
И звучному их рогу,

И стае гончих, зверя
В трущобе укрывает...
А к осени деревья
Он холит-сберегает:

Под корень их валежник
И палый лист, вязанкой,
Кряхтя, валит с плеча он
Над белою белянкой,

Над рыжиком и груздем,
Над тонкою опёнкой:
Укроет; проберется
К грибовницам сторонкой,

И филином прогукнет,
И в чаще, за кустами,
Засветит, что волчиха,
Зелеными глазами.

В орешнике змеею
Шипит он для потехи,
Чтоб девушки у белок
Не сняли все орехи.

А летом провожает
Убогую калику;
За девицей, охочей
Ходить по земляннику,

По ягоду малину
С смородиною черной,
Следит он втихомолку
Промеж листвы дозорной;

И если бойкий парень
Где песенку затянет,—
Проказник-леший кличем *)
Красавицу обманет,

А парня обойдет он...
И, если где калику,
Позарясь на понёву,
Котомочку и кику—

С зашитым подаяньем,
Бродяга ждет,—дед стукнет
На целый лес дубинкой,
Конем заржет, аукнет,

Грозой и буйным вихрем
Вдоль по́ лесу застонет,—
И в самую трущобу
Недоброго загонит;

Там будет сыт бродяга
До третьего до Спаса:
У яблонь и у пчолок
Накоплено запаса...

А в лес зайдет охотник—
Опять стучит дубинка,
И прячется в трущобе
Вся дичь и вся дичинка...

Всего любезней вёсны
Для деда: припадает
К сырой земле он ухом
И слышит:—все копает,

Все роется под склепом
Своей темницы тесной,
Все дышит жаждой жизни
И силою воскресной:

И травка, и муравка,
И первые цветочки,
И первые на волю
Пробившиеся почки.

Вот все зазеленело;
Летучими цветками
И бабочки и мушки
Порхают над лугами;

Жужжа, роятся пчелы;
Поют на гнездах птицы,
И на́ небе играют
Весенние зарницы.

Дед долго и любовно
По лесу ходит-ходит,
Порой с былинки малой
По часу глаз не сводит.

И все он на сторожке—
С зари до полуночи,
Пока уж напоследок
Не выбьется из мочи...

---

*) К л и ч—народный синоним эхо.

Устанет, притомится,
И спать придет охота—
Уйдет в дубовый остров,
В любимое болото:

Там тина—что̀ перина,
Там деду, ночью тихой,
Зыбучая постеля
С русалкой-лешачихой.

Для ней-то он осоку
В зеленый полог рядит;
Для ней медвежьи ушки,
Вороньи глазки садит;

Для ней и незабудки—
Ковром узорно-шитым;
Для ней и соловейки
По ветлам и ракитам.

Для ней-то под Купалу,
Полу́ночью росистой,
И папортник без цвета
Цветет звездой лучистой.

Сюда уж не добраться
Ни вершникам, ни пешим...
И спит он... Да летает
Недобрый сон над лешим...

И снится деду, будто
По всей его дуброве
Чудно̀е что̀ творится.
И все как будто вновь...

Что мчится издалёка
Неведомая сила
И старую трущобу
Всю лоском положила:

Подсечен, срублен, свален
И сгублен топорами,
Кругом весь остров стонет
Дрожащими ветвями;

Что про̀сека с полве́рсту
Идет поверх болота,
И вдалеке сверкает
Зловещим оком что-то,

И мчится-мчится-мчится,
И ближе подлетает:
Пар из ноздрей и искры;
След полымя сметает.

Шипит-шипит и свищет.
И, словно змей крылатый,
Грозит чугунной грудью
Груди его косматой...

Проснулся, глянул,—видит:
Не остров, а площадка;
Дубов—как не бывало:
Все срублено, все гладко...

Засыпано болото
Песком, дресвой и щебнем,
И мост над ним поднялся
Гранитным серым гребнем,

И рассыпая искры,
Далёко, в поле чистом,
Летит змея́-чугунка
С шипением и свистом.

1861.

В ИХОРЬ

При дороге нива...
Доня-смуглоличка
День-деньской трудится—
Неустанно жнет:
Видно, не ле́нива,
А—что̀ Божья птичка—
На заре ложится,
На заре встает.

Против нашей Дони
Поискать красотки.
Разве что далёко,
А в соседстве нет...
Косы по ладони;
Грудь, как у лебедки;
Очи с поволокой;
Щеки—маков цвет.

Солнце так и жарит,
Колет, как иглою;
Стелется на поле
Дым, не то туман;
С самой зорьки парит—
Знать, перед грозою;
Скинешь поневоле
Душный сарафан.

Разгорелась жница:
Жнет да жнет да вяжет,
Вяжет без подмоги
Полные снопы...
А вдали зарница
Красный полог кажет...
Ходят вдоль дороги
Пыльные столпы...

Ходят в и х р и, ходят,
Вертятся воронкой—
Все поодиночке:
Этот, тот и тот—
Очередь заводят...
А один, сторонкой,
К Дониной сорочке
Так себе и льнет.

Оглянулась девка—
И сама не рада:
Кто-то за спиною
Вырос из земли...
На губах издевка,
А глаза без взгляда,
Волосы копною,
Борода в пыли.

Серый-серый, зыбкий,—
Он по ветру гнется,
Вьется в жгут и пляшет,
Пляшет и дрожит,
Словно бы с улыбкой,
Словно бы смеется,
Головою машет—
Доне говорит:

«Ветерок поднялся—
Славная погодка!
Светится зарница
Среди бела дня:
Я и разыгрался...
Белая лебедка,
Красная девица,
Полюби меня!»

Отскочила Доня—
Ей неймется веры,
За снопами кроясь,
Силится уйти,
А за ней погоня—
Настигает с е р ы й,
Кланяется в пояс,
Стал ей на пути:

«Что ж не молвишь слова,
Что не приголубишь?
Аль еще не знаешь—
Что за зелье страсть?
Полюби седого:—
Если не полюбишь,
И его сконаешь,
И тебе пропасть!..»

Сам по полю рыщет,
К Доне боком-боком—
Тесными кругами
Хочет закружить:
Будто в жмурках ищет,
Будто ненароком
Пыльными руками
Тянется схватить.

Вот схватил и свистнул...
Да она рванулась;
«Аль серпа хотелось?
На тебе, лови!»
Серп блеснул и свистнул...
Пыль слегка шатнулась
Да и разлетелась...
Только серп в крови...

С призраком пропали,
Словно вихорь шаткий,
И девичьи грезы...
Отчего ж потом
Мать с отцом видали
Что она украдкой
Утирала слезы
Белым рукавом?

Отчего гурьбою
Сватов засылали;
А смотрён ни разу
Не пришлось запить?..
Думали семьею,
Думали-гадали
И решили: «с глазу!» —
Так тому и быть...

Зимка проскрипела,
И весной запахло;
Зеленя пробили
Черный слой земли...
Доня все хирела
Сохнула и чахла...
Знахари ходили,
Только не дошли.

Рожь поспела снова...
Светится зарница...
Ходят вдоль дороги
Пыльные столпы...
Только нет Седого.
И другая жница
Вяжет без помоги
Полные снопы.

«Эхма! Жалко Домны!» —
Всем селом решали:
Этакой напасти
Где избыть серпом!
Старики-то скромны —
Видно, не учили:
«От беды да страсти
Оградись крестом».

1856.

РУСАЛКА

Мечется и плачет, как дитя больное
В неспокойной люльке, озеро лесное...

Тучей потемнело; брызжет мелкой зернью —
Так и отливает серебром да чернью...

Ветер по дуброве серым волком рыщет;
Молния на землю жгучим ливнем прыщет;

И на голос бури, побросавши прялки,
Вынырнули со́ дна резвые русалки...

Любо некрещеным в бурю-непогоду
Кипятить и пенить жаркой грудью воду;

Любо им за вихрем перелетным гнаться,
Громким, звучным смехом с громом окликаться!..

Волны им щекочут плечи наливные,
Чешут белым гребнем косы рассыпные;

Ласточки быстрее, легче пены зыбкой,
Руки их мелькают белобокой рыбкой;

Огоньком под пеплом щеки половеют;
Ярким изумрудом очи зеленеют.

Плещутся русалки, мчатся в перегонку,
Да одна отстала—отплыла в сторонку...

К берегу доплыла, на́ берег выходит,
Бледными руками ивняки разводит;

Притаилась в ли́стве на прибрежьи черном,
Словно белый лебедь в тростнике озерном...

Вот уж понемногу не́погодь стихает;
Ветер с листьев воду веником сметает;

Тучки разлетелись, словно птицы в гнезда;
Бисером перловым высыпали звезды;

Месяц двоерогий с неба голубого
Засветил отломком перстня золотого...

Чу! переливаясь меж густой осокой,
По воде несется благовест далекий —

Благовест далекий по воде несется
И волною звучной прямо в душу льется.

Видится храм Божий, песнь слышна святая,
И сама собою крест творит десная...

И в душе русалки всенощные звуки
Пробудили много и тоски и муки,

Много шевельнули страсти пережитой,
Воскресили много были позабытой...

Вот в селе родимом крайняя избушка;
А в избушке с дочкой нянчится старушка:

Бережет и холит, по головке гладит,
Тешит лентой алой, в пестрый ситец рядит...

Да и вышла ж девка при таком уходе:
Нет ее красивей в целом хороводе...

Вот и бор соседний—там грибов да ягод
За одну неделю наберешься на́ год;

А начнут, под осень, грызть орехи белки —
Сыпь орех в лукошки—близко посиделки.

Тут-то погуляют парни удалые,
Тут-то насмеются девки молодые!..

Дочь в гостях за прялкой песни распевает
А старуха дома ждет да поджидает;

Огоньку добыла—на дворе уж ночка—
Долго засиделась у соседей дочка...

Оттого и долго: парень приглянулся
И лихой бедою к девке подвернулся;

А с бедою рядом ходит грех незванный...
Полюбился парень девке бесталанной,

Так ей полюбился, словно душу вынул,
Да и насмеялся—разлюбил и кинул.

Позабыл голубку сизокрылый голубь—
И остались бедной смех мирской да прорубь...

Вспомнила русалка—белы руки гложет;
Рада б зарыдала—и того не может;

Сотворить молитву забытую хочет—
Нет для ней молитвы—и она хохочет...

Только, пробираясь на село в побывку,
Мужичок проснулся и стегает сивку,

Лоб и грудь и плечи крестно знаменует,
Да с сердцов на хохот окаянный плюет.

1849—1856.

ПО ГРИБЫ

Рыжичков, волвяночек,
Белыих беляночек
Наберу скорешенько
Я, млада-младешенька,
Что для свекра-батюшки,
Для свекрови-матушки:
Перестали б скряжничать —
Сели бы пображничать.

А тебе постылому,
Старому да хилому,
Суну я в окошечко
Полное лукошечко
Мухомора старого,
Старого—поджарого...
Старый ест—не справится:
Мухомором давится.

А тебе, треклятому,
Белу-кудреватому,
Высмотрю я травушку,
Травушку муравушку, —
На постелю браную,
Свахой-ночкой стланую
С пологом-дубровушкой,
Да со мной ли, вдовушкой.

1860.

ПЕСНЯ

Ты житье ль мое,
Ты бытье ль мое,
Ты, житье-бытье мое ли горемычное!
Что хозяйкой быть,
За седым ходить—
Молодешеньке мне—дело непрывычное...
Ох, ты, милый мой,
Разудалый мой!
Научи меня с недолей потягатися:
Не топить избы,
Не слыхать журьбы,
Со постылым, старым мужем не якшатися.

1860.

ИЗ „ПЕСНИ ПРО КНЯГИНЮ УЛЬЯНУ АНДРЕЕВНУ ВЯЗЕМСКУЮ“

I

Хорошо в терему князя Вяземского:
Все у места, прилажено, прибрано,
Как к великому светлому празднику;
Вымыт пол, ометен свежим веником;
Слюда в окнах играет на солнышке;
Что ни лавка, то шитый полавочник:
Поставец серебром так и ломится;
А в углу милосердие Божие:
Кипарисный киот резан травами;
Колыхаясь, лампада подвесная
Огоньком по окладам посвечивает;
А иконы—письма цареградского,
Все бурмицкими зернами низаны;
Самоцветные камни на венчиках.
Стол дубовый накрыт браной скатерью;
За столом оба князя беседуют;
На столе три стопы золоченые:
В первой брага похмельная, мартовская,
Во второй—лицец-мед, на́век ставленный,
В третьей—фряжское, прямо из-за́ моря;
По стопам уж и чарки подобраны.
А княгиня Ульяна Андреевна
Под окошком стоит и красуется,
Зелены́м своим садом любуется:
Развернулись в нем лапы кленовые,
Зацвели в нем цветочки махровые,

Зацвели и ало и лазорево
Закадили росны́м, вешним ладаном,
На утеху певуньям охотливым,
Мелким пташкам лесным перелетливым.

II

Лето красное; росы студеные;
Изумрудом все листья цвеченые;
По кустам, по ветвям потянулися
Паутинки серебряной проволокой;
Зажелтели вдоль тына садового
Ноготки, янтарем осмоленные;
Покраснела давно и смородина;
И крыжовник обжег себе усики;
И наливом сквозным светит яблоко.

1859.

ИЗ „ПЕСНИ ПРО БОЯРИНА ЕВПАТИЯ КОЛОВРАТА“

К городу Рязани
Катят трое сани,
Сани развальные —
Дуги расписные;
Возжи на отлете;
Кони на разлете:
Колокольчик плачет —
За́ версту маячит.
Первые-то сани —
Все-то поезжане,
Все-то северяне, —
В рукавицах новых,
В охабнях бобровых.
А вторые санки —
Все-то поезжанки,
Все-то северянки, —
В шапочках горлатных,
В жемчугах окатных.
А что третьи сани
К городу Рязани
Покатили сами
Всеми полозами,

Подлетели птицей
С красной царь-девицей,
С греческой царевной —
Душой-Евпраксевной.

1859

III

ИЗ АНТИЧНОГО МИРА

ПЛЯСУНЬЯ

Окрыленная пляской без роздыху,
Закаленная в серном огне,
Ты, помпеянка, мчишься по воздуху,
Не по этой спаленной стене.

Опрозрачила ткань паутинная
Твой призывно-откинутый стан;
Ветром пашет коса твоя длинная,
И в руке замирает тимпан.

Пред твоею красой величавою
Без речей и без звуков уста,
И такой же горячею лавою,
Как и ты, вся душа облита.

Но не сила Везувия знойная
Призвала тебя к жизни:—легка
И чиста, ты несешься, спокойная,
Как отчизны твоей облака.

Ты жила и погибла тедескою *).
И тедескою стала навек,
Чтоб в тебе, под воскреснувшей фрескою,
Вечность духа прозрел человек.

1860.

*) Тедеска—по римски и итальянски—германка.

ГАЛАТЭЯ

I

Белою глыбою мрамора, высей прибрежных отбросом
Страстно пленился ваятель на рынке паросском;
Стал перед ней—вдохновенный, дрожа и горя...
Феб утомленный закинул свой щит златокованный за́ море,
И разливалась на мраморе
Вешним румянцем заря...

Видел ваятель, как чистые камня крупинки смягчались,
В нежное тело и в алую кровь превращались,
Как округлялися формы—волна за волной,
Как, словно воск, растопилася мрамора масса послушная
И облеклася, бездушная,
В образ жены молодой.
«Душу ей, душу живую!—воскликнул ваятель в восторге:—
Душу вложи ей, Зевес!»

Изумились на торге
Граждане—старцы, и мужи, и жены, и все,
Кто только был на аго́ре. Но, полон святым вдохновением,
Он обращался с молением
К чудной, незримой красе:

«Вижу тебя, богоданная, вижу и чую душою;
Жизнь и природа красны мне одною тобою...
Облик бессмертья провижу я в смертных чертах...»
И перед нею, своей вдохновенною свыше идеею,
Перед своей Галатэею,—
Пигмалион пал во прах...

II

Двести дней славили в храмах Кивеллу, небесную жницу;
Двести дней Гѐлиос с неба спускал колесницу;
Много свершилось в Элладе событий и дел;
Много красавиц в Афинах мелькало и гасло—зарницею,
Но перед ней, чаровницею,
Даже луч солнца бледнел...

Белая, яркая, свет и сиянье кругом разливая;
Стала в ваяльне художника дева нагая,

Мраморный, девственный образ чистейшей красы...
Пенились юные перси волною упругой и зыбкою;
Губы смыкались улыбкою;
Кудрились пряди косы.

«Боги!—молил в исступлении страстном ваятель:—ужели
Жизнь не проснется в таком обаятельном теле?
Боги! Пошлите неслыханной страсти конец...
Нет!.. Ты падешь, Галатэя, с подножия в эти об'ятия,
Или творенью проклятия
Грянет безумный творец!»

Взял ее за руку он... И чудесное что-то свершилось...
Сердце под мраморной грудью тревожно забилось;
Хлынула кровь по очерченным жилам ключом;
Дрогнули гибкие члены, недавно еще каменелые;
Очи, безжизненно-белые,
Вспыхнули синим огнем.

Вся обливаясь розовым блеском весенней денницы,
Долу стыдливо склоняя густые ресницы,
Дева с подножия легкою грезой сошла;
Алые губы раскрылися, грудь всколыхнулась волнистая,
И, что струя серебристая,
Тихая речь потекла:

«Вестницей воли богов предстою я теперь пред тобою.
Жизнь на земле — сотворенному смертной рукою;
Творческой силе — бессмертье у нас в небесах!»
И перед нею, своей воплощенною свыше идеею,
Перед своей Галатэею,
Пигмалион пал во прах.

1858.

ФРИНЭ

— Ты, чужеземец, ревнуешь меня к Праксите́лю напрасно:
Верь мне, мой милый, что в нем я художника только любила.—
Он потому мне казался хорош, что искусство прекрасно;
Он для другой изменил мне—и я про него позабыла...
Впрочем, кого не смутили бы льстивые речи: «Гнатена,
Нет, не Киприду,—т е б я породила жемчужная пена!
Будь образцом для статуи богини, бессмертия ради:
Имя твое и твоя красота не погибнут в Элладе!»

Я согласилася... Мрамора глыба—такая, что только бы нимфе
Или богине статую иссечь—красовалась в ваяльне;

Чуда резца животворного ждали всечасно в Коринфе,
А Праксите́ль становился скучнее, угрюмей, печальней.
«Нет, не могу!—говорил он, бросая резец в утомленьи:—
Я не художник, а просто влюбленный: мое вдохновенье—
Юноши бред,—не она, Прометеева жгучая сила...
О, для чего в тебе женщина образ богини затмила?»

Прошлой зимою...—Налей мне вина из патера:
Вечер свежеет—по телу и холод и жар пробегает...—
Прошлой зимою в Коринфе у нас появилась гетера,
Именем Фринэ... Теперь ее всякий коринфянин знает;
Но,—захотелось ли ей возбудить любопытство в народе,
Или от бешеных оргий Афин отдохнуть на свободе,—
Только она укрывалась от смертных, подобно богине...
Вскоре однакож Коринф коротко познакомился с Фринэ!

Вот подошли Элевзинские празднества... Пестрой толпою
Жители Аттики шумно стекалися на берег моря:
Шли сановитые старцы, венчанные Крона рукою;
Отроки шли, с Ганимедом красою весеннею споря;
Юные жены и девы, потупив стыдливые взоры,
Ловко несли на упругих плечах храмовые амфоры;
Мужи и смелые юноши, вслед за седыми жрецами,
Жертвенных агнцев вели и тельцов, оплетенных цветами.

Все обступали толпой оконечность пологого мыса:
Против него, по преданию, вышла из моря Киприда.
Жрицы пафосской богини готовились, в честь Адониса,
Гимны обрядные петь: застонала в руках их пектида,
Звуки свирели слилися с ее обольстительным тоном...
Вдруг от толпы отделилася женщина... Длинным хитоном
Был ее стан величавый ревниво сокрыт; покрывало
Белой, широкой волной, с головы и до пят ниспадало.

Плавно, как будто бы чуткой ногою едва пригибая
Стебли росистых цветов, по прибрежию—далей и далей—
К самой окраине мыса она подошла; не внимая
Шопоту ближней толпы, развязала ремни у сандалий;
Пышных волос золотое руно до земли распустила;
Перевязь персей и пояс лилейной рукой разрешила;
Сбросила ризы с себя и, лицом повернувшись к народу,
Медленно, словно заря, погрузилась в лазурную воду.

Ахнули тысячи зрителей; смолкли свирель и пектида;
В страхе упав на колени, все жрицы воскликнули громко:
«Чудо свершается, граждане! Вот она, матерь Киприда!»
Так ослепила своей олимпийской красой незнакомка...

Все обаяние девственных прелестей, все, чем от века
Жен украшала природа, иль смелая мысль человека,
Все эта женщина образом дивным своим затмевала...
Я поняла Праксите́ля и горько тогда зарыдала!

Но не Киприда стояла в волнах, а мегарянка Фринэ.
Меж изумленных граждан живописцы, ваятели были:
Всех их прельстила гетера... прельщает их всех и поныне;
Все в свою очередь эту гетеру безумно любили...
Многих она обманула, а прочих обманет жестоко:
Темную душу не всякий провидит сквозь светлое око...
С этого самого утра Гнатена с ваятелем—розно...
Может быть, он и раскаялся, только раскаялся поздно...

Что же сказать мне еще? Изваянье богини Киферы
Кончил давно Праксите́ль, и давно повторяет Эллада
Имя ваятеля с именем мне ненавистной гетеры;
Но—да хранят меня боги!—теперь я спокойна, я рада...
Рада свободе...
Взгляни: потемнели высокие горы...
Тихо, в венцах многозвездных, проносятся вечные Оры...
Ночь и природе и людям заветное слово шепнула:
«Спите!»
...О, если бы ревность... твоя, чужеземец, заснула.

1859.

ИЗ ПОЭМЫ „ЦВЕТЫ“

Однажды кесарь новую поэму
Читал у Максимиллы; тесный круг
Ее друзей и молодых подруг
Внимал стихам, написанным на тему:
«Capácen parturiens» *). Он читал
И с каждою строкой одушевлялся;
Под льстивый шопот сдержанных похвал
Гекзаметр, как волна, переливался...
Вдруг, на одной из самых сильных фраз,
Раздался храп заснувшего Генгита!
Приличье, страх—все было позабыто,—
И громкий хохот общество потряс:
Заслушавшись стихов поэмы чудной,
Британец спал спокойно, непробудно.

*) «Мучающийся в родах Лев» («серебряная» латынь).

В душе Нерона вспыхнула гроза:
Он побледнел; виски налились кровью;
Под бешено-нахмуренною бровью
Метнули искры впалые глаза,
И замер на устах оледенелых
До половины вылившийся стих,
И вздрогнул круг гостей оцепенелых;
Но быстрый гнев еще быстрей затих.
«Живи вовеки!—молвит Максимилла;—
Напрасно, кесарь, рассыпаешь ты
Пред варваром поэзии цветы:
В нем духа мощь убила плоти сила...»
Нерон смеялся, варвара обнял
И тут же всех присутствовавших звал
К себе на пир...

Давно пируют гости;
Давно в кратэрах жертвенных вино
Пред статуи богов принесено
И розлито рабами на помосте;
Давно и навык и талант прямой
В науке пиршеств поваром показан;
Давно и пес цепочкой золотой
К тяжелому светильнику привязан...
Нерон дал знак—и с озаренных хор
Певцов лидийских цитры зазвучали,
И стройный гимн пронесся в пирной зале.
Блеснул победно Максимиллы взор,
И, от бессильной зависти бледнея,
Потупила глаза свои Поппея.

Клир воспевал царицу торжества,
Любимицу младую Аполлона,
Сошедшую на землю с Геликона.
Пропетый гимн придворная молва
Приписывала кесарю негласно,
И, как ни скромен автор гимна был,
Но дружный хор приветствий шумных ясно
Венчанного поэта обличил
Нерон едва приметно улыбался
И лиру приказал к себе принесть:
Сам Аполлон, прекрасной музы в честь,
Хвалебный гимн пропеть намеревался.
Все смолкло, словно гений тишины
Слетел в чертог на первый звук струны.

Нерон запел... Отчетливый, могучий
И гибкий голос кесаря звучал,

Гремел грозой, дрожал и замирал
В мелодии менявшихся созвучий.
В них слышались кипучая борьба
И мощный отзыв непреклонной власти,
И робкая, покорная мольба,
И плач, и смех, и тихий ропот страсти...
Певец умолк, а все еще вокруг
Ему внимали в сладком умиленьи...
Но миг один—и все пришло в волненье,—
И весь чертог заколебался вдруг
Под непрерывный гром рукоплесканий,
Восторженных похвал и восклицаний.

В разгаре пир. Меняются чредой
Неслыханно-затейливые блюда;
Финиктью расцвеченная посуда
Везде блистает грудой золотой;
Прельщая вкус и удивляя взоры,
Обходят избалованных гостей
Заветные патэры и амфоры,
Бесценные и редкостью своей
И нектаром, заботливо храненным:
Спокойное фалернское вино
Библосским искрометным сменено,
Библосское—хиосским благовонным,
Хиосское—фазосским золотым,
Фазосское—коринфским вековым.

Шумнее пир, смелее разговоры,
Нескромней смех, живей огонь очей...
Одни, в толпе ликующих гостей,
Потупили задумчивые взоры
Поппея и Софонний Тигеллин;
На их челе сомнение, забота
И тайный страх... Но Рима властелин
Софонию шепнул украдкой что-то,
А на Поппею бросил беглый взгляд—
И лица их мгновенно просветлели...
Меж тем тимпаны, трубы и свирели
И струны лир торжественно гремят,
И резвый рой менад гостей забавит,
И хор певцов царицу пира славит,—

Красавицу, богиню из богинь...
Уж за́ полночь... Гостей не потревожа,
Поппея тихо поднялася с ложа
И, скрытая толпой немых рабынь,
Скользнула незаметно из столовой.

Но видел все внимательный Нерон:
Он также встал, нахмуренный, суровый,
И также вышел из чертога вон,
Безмолвно опершись на Тигеллина,
И двери затворились за ним...
Переглянулись с ужасом немым
Все гости по уходе властелина...
Вдруг затрещал над ними потолок,
И Флора уронила к ним цветок.

Упала пышнолиственная роза...
За ней другая, третья... словно вязь
В перстах лилейных Флоры расплелась,
И, волею богов, метаморфоза
Свершилась очевидно: с высоты
Вниз полились дождем благоуханным
Мгновенно оживавшие цветы.
Поражены явлением нежданным,
Вскочили гости, слов не находя,
Чтоб выразить всю силу изумленья,
Но—минул краткий миг оцепененья,
И мерный шум цветочного дождя
Покрыли оглушительные крики:
«Живи вовеки, кесарь наш великий!

Да здравствует божественный Нерон!
Благословенны дни его драгие!...»
Ликуют снова гости молодые,
И снова смех и чаш веселый звон
Триклиниум умолкший огласили.
Недавний страх и ужас далеки.
Из ярких роз и белоснежных лилий
Свиваются пахучие венки;
Плетутся вязи длинные фиалок,
Нарциссов, гиацинтов, васильков...
«Менад сюда! канатных плясунов!
Вина! вина! Кто пить устал, тот жалок!
Придумывай скорей, архимагир,
Чем заключить достойнее наш пир!»

Все девять муз украшены венками;
На всех гостях гирлянды из цветов;
Все ложа, ног, весь длинный ряд столов
Усеяны, усыпаны цветами...
Пора рабам дать отдых и покой:
Генгит вскочил и ложе с места сдвинул
И пса толкнул могучею пятой:
Рванулся пес, светильник опрокинул

И цепь порвал... И вот рабы ушли,
Ушли рабыни, плясуны, менады...
Кой-где погасли пирные лампады...
Веселый смех и крики перешли
В невнятные слитые разговоры;
Замолкнул клир и потемнели хоры...

И падают, и падают цветы,
И сыплются дождем неудержимым...
В лугах и злачных пажитях под Римом
Три дня их сбором были заняты
Селянки загорелые и дети...
И падают, и падают цветы,
И зыблются, как радужные сети,
Спущенные на землю с высоты.
Их сотня рук с потухших хор кидает
Корзинами, копнами; аромат
Вливает в воздух смертоносный яд;
Клокочет кровь, и сердце замирает
От жара и несносной духоты...
И падают, и падают цветы...
Напрасен крик пирующих: «Пощады!
Мы умираем!» Падают цветы—
Пощады нет: все двери заперты;
Везде погасли пирные лампады...
В ответ на вопль предсмертный и на стон
В железных клетках завывали звери,
И за дверями хохотал Нерон.
Еще мгновенье...
Растворялись двери—
Великодушный кесарь забывал
Обиду, нанесенную поэту...
Впоследствии, припомнив шутку эту,
Позвал на пир гостей Эллагобал;
Но тем гостям плачевней жребий выпал:
Помешанный цветами их засыпал...

1855.

IV

БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ

САМПСОН

«Не любишь ты меня!—Сампсону говорила,
Змеей вокруг него обвившися, Далила.—
Не любишь ты меня, обманщик, мой еврей:
Таишься от меня—в чем мощь твоя и сила?»
И филистимлянке признался назарей:
«Силен обетом я: не стричь моих кудрей».
И, золотом врагов его заране
Подкуплена, коварная краса
Атлету сонному остригла волоса
И крикнула:
«Сампсон, вставай—филистимляне!»
От ложа страстного воспрянул назарей,
Как лев, но уж без ней, без прежней львиной мочи,
И вот поникнул он под тяжестью цепей,
И погасил ему нож филистимский очи,
И с торжеством был взят в позорный плен Сампсон,
И жерновами хлеб молоть был обречон,
На радость злобную и Тира и Сидона.
Но дни, недели, месяцы прошли,
И снова волосы густые отросли
И пали на плеча широкие Сампсона...

Справлялся праздник грозного Дагона.
Жрецы, с молитвой жертвенной, с зари,
Цветочной вязию обвили алтари,
И мягкорунные овны пред алтарями
Склонялися извитыми рогами,
И из курильниц вверх вздымался фимиам,

И в солнечных лучах горел и таял храм...
В алмазах, в жемчугах, в парче и в багрянице,
Соперницы самой божественной деннице,
На кровле храмовой, все — ко цветку цветок,
Сплелись красавицы в один сплошной венок,—
И в каждой молодой и пламенной зенице
Стрелой грозил любви неодолимый бог...
Раздольный пир жрецам!.. Их набожная паства
Превозошла себя: причудливые яства
Едва-едва столов не ломят под собой,
И бьет вино кипучею струей
Через края сосудов... И, хмелея
От возлияний жертвенных, жрецы
Кричат соборне:
«Архонты-отцы.
Велите привести нам пленного еврея,
Да песнею своей возрадует нас он!..»
И в храм был приведен в цепях святой Самсон
И молвил отроку-вожатаю:
«Где он,
Где столп, что капища подпорой утвержден?»
И отрок указал подпорный столп Самсону,
И ощупью нашел слепой атлет колонну...
И мышцы у него тревожно напряглись...
А с кровли храмовой торжественно неслись
Победоносные насмешки назарею:
«Спой, как Господь поведал Моисею—
Чрез море Чермное, в стенах послушных вод
Провесть, как по-суху, израильский народ,
И как святой пророк, от громоносной дали
Спустившись вниз, разбил заветные скрижали
И с ними сокрушил божественный закон,
Затем, что вкруг тельца златого заплясали
Еврейки и он сам, их пастырь, Аарон!..
Да спой уж кстати нам, как у кого-то силу
Наш грозный бог Дагон потратил на Далилу,
И под ножом глаза могучему ему
Астартэ обрекла на вечный мрак и тьму!
Спой нам свои псалмы священные, покуда
С тобой не сбудется израильского чуда!»
И ото всей души провозгласил слепец:
«Днесь сыну Твоему поможешь Ты, Отец!»
И обнятой гранит прижал к себе до лона,
И капище потряс с конца он и в конец,
И разлетелася гранитная колонна,
И кровля вслед за ней... И рухнул храм Дагона,
Собою задавив всех бывших и Самсона...
Ты, умственный атлет гремучих наших дней,

Певец, и ты силен, как ветхий назарей:
Ты так же смел и горд пред силою земною
И так же слаб, как он, пред всякой красотою...
Но если б ты погиб и духом изнемог,
Но если бы тебя коварно усыпили,
И предали тебя врагам, и ослепили,
О!.. За тебя тогда заступится сам Бог,—
И за тебя, за нового Сампсона,
Во прахе разгромит все капище Дагона.

1861.

ПРИТЧА ПРОРОКА НАФАНА

1

В венце и в порфире, и в ризе виссонной,
Внезапно покинув чертог благовонный,
Где смирна курилась в кадилах невольников,
Где яства дымились пред сонмом состольников
И в винах сверкали рубин и янтарь,
Где струны псалтирные славили Бога,
На кровлю чертога
Взошел псалмопевец и царь.

2

Взошел он—пред Господом мира и брани
Воздеть покаянно могучие длани
За кровь, пролитую в борьбе с аммонитами,
Взошел примириться молитвой с убитыми—
По воле престолодержавной Его:
Стоял еще гибнувший окрест Раббава
Весь полк Иоава,
А брань началась ни с чего.

3

И к небу возвел он орлиное око
И долу склонил: перед взором далеко
Стремилася ввысь синева бесконечная,
И зрелась в ней сила и воля предвечная...
Смутился, вниз глянул—и дрогнул... В саду
Вся в огненных брызгах, что змейка речная,
Жена молодая,
Купаясь, плыла по пруду...

4

Ревниво поднявшись кругом вертограда,
Как евнух докучный, стояла ограда;
Ревнивей ограды, шатрами зелеными,
Ливанские кедры срослись с киннамонами;
Маслина ветвями склонилася вниз;
Все солнцем прогретое, ярко-цветное,
Сочилось алоэ,
И капал смолой кипарис.

5

Очей от купальщицы царь не отводит;
И вот она на́ берег смело выходит.
Тряхнула кудрями, что крыльями черными,
И капли посыпались крупными зернами
По гибкому стану и смуглым плечам;
Дрожат ее перси, как две голубицы;
Прильнули ресницы
К горячим и влажным щекам.

6

Рабыня ей стелет ковер пурпуровый,
Младые красы облекает в покровы;
На кудри льет мира струю благовонную...
И царь посылает спросить приближенную:
— Кто женщина эта?—И молвит раба:
«Она от колена и рода Хеттии,
Супруга Урии,
Элиама дочь, Бэт-Шэба».

7

И близкие слуги, по царскому слову,
Красавицу вводят в ложницу цареву,
И только наутро, пред светлой денницею,
Еврейка рассталася с пышной ложницею
И вышла так тайно, как тайно вошла...
Но вскоре царя извещает: «К рабыне
Будь милостив ныне:
Под сердцем она понесла».

8

ю сердце Давида вскипело;
Задумал он злое и темное дело...

Урию из стана позвал к себе лестию
И встретил дарами, почетом и честию,
И два дня Урия в дворце пировал;
На третий был снова с израильской ратью:
С ним царь, за печатью,
Письмо к Иоаву послал.

9

Написано было царем Иоаву:
«Приблизься немедля всем станом к Раббаву,
Но ближе всех прочих пред силою вражьею
Пусть станет Урия с немногою стражею—
Ты прочь отступи и оставь одного:
Пусть будет он смят и задавлен врагами,
И пусть под мечами
Погибнет и стража его».

10

И вождь Иоав перед силою вражьей
Поставил Урию с немногою стражей,
С мужами в бою и на брани несмелыми,
А сам отступил перед первыми стрелами
К наметам и ставкам своим боевым.
И вышли из града толпой аммониты,
И были убиты
Урия и отроки с ним.

11

И горько жена по Урии рыдала,
Но вдовьего плача пора миновала,
И царь за женой посылает приспешников...
Да Бог правосудный преследует грешников,
Порочное сердце во гневе разит
Под самою сенью царева чертога,
—А Господа Бога
Прогневал собою Давид.

12

И Бог вдохновляет Нафана пророка...
Предстал сердцеведец пред царское око
И молвил: «Прими от меня челобитную,
Яви мне всю правду свою неумытную

И суд изреки мне по правде своей,
Да буду наставлен моим господином...
Во граде едином
Знавал я двух неких мужей.

13

Один был богатый, другой был убогий...
И было добра у богатого много,
И стад и овец у него было множество,
А бедному труд, нищета и убожество
Достались на долю, и с нивы гнала
Его полуночь, а будила денница,
И только ягница
Одна у него и была.

14

Купил он ее и берег и лелеял;
Для ней и орал он, для ней он и сеял;
С его сыновьями росла и питалася,
Из чаши семейной его утолялася;
Как дочь, засыпала на лоне его;
Была ему так же любовна, как дети,
И не было в свете
Дороже ему ничего...

15

Богатый, что лев пресыщенный в берлоге...
Но вот к нему путник заходит с дороги—
И жаль богачу уделить ото многого,
А силою взял он ягницу убогого,
Зарезать велел и подать на обед...
Что скажет владыка и как он рассудит?»
Давид: «И не будет,
И не было казни, и нет

16

Для этого мужа: кровь-крови на муже!»
Нафан ему:
«Царь, поступаешь ты хуже!
Похитил у бедного радость единую
И пролил предательски кровь неповинную:
Урию поставил под вражеский меч
И силой жену его взводишь на ложе!
О, Боже мой, Боже!
Где суд твой, и правда, и речь?

17

На нас и на чадах они, и над нами!..
Царь, Бог возвещает моими устами:
Твое отроча, беззаконно рожденное,
Умрет беззаконно, как все беззаконное...
Тебя охраняя, и чтя, и любя,
Погиб от тебя же твой раб и твой воин...
Ты смерти достоин,
Но сын твой умрет за тебя».

18

И пал псалмопевец, рыдая, на ложе,
И Богу воззвал он:
«Помилуй мя, Боже,
Помилуй! зане я и прах и ничтожество,
Зане, Милосердый, щедрот Твоих множество
И милость Твоя не скудеет вовек.
Суди же раба Твоего благосклонно:
Зачат беззаконно,
Рожден во грехах человек.

19

Предстал перед суд Твой всестрашный и правый
Твой раб недостойный, убийца лукавый:
Воздай мне за зло мое, Боже, сторицею,
Казни, но наставь вездесущей десницею!
Наставь меня, Боже, на правом пути,
Зерно упованья внедри в маловерце,
Очисти мне сердце,
Душевную тьму освети!»

20

И долго молил он, рыдая на ложе:
«Помилуй мя, Боже, помилуй мя, Боже!»
И сын его умер...
С тоской несказанною
Давид преклонился главою венчанною,
Но Бог псалмопевца—царя и раба
Простил, осенив его царское лоно...
Простил: Соломона
Царю родила Бэт-Шэба.

1858.

ПУСТЫННЫЙ КЛЮЧ

Моисеевых книг—Исход.

Таких чудес не слыхано доныне:
Днем облако, а ночью столп огня,
Вслед за собой толпу несметную маня,
Несутся над песком зыбучим, по пустыне,
И Богом вдохновлен, маститый вождь ведет
В обетованный край свой избранный народ.
Но страждут путники, и громко ропщет каждый,
Как травка без дождя, палим томящей жаждой,
Порою впереди—как будто бы вода,—
Нет, это—марево,—и синею волною
Плеснула в небеса зубчатых скал гряда.
Так и теперь... Далеко глаз еврея
Завидел озеро, и звучно раздались
И потонули в голубую высь
Похвальные псалмы—во имя Моисея.
И вот опять обман, опять каменья скал,
Где от веку ручей студеный не журчал.
И пали духом все, и на песок, рыдая,
С младенцем пала ниц еврейка молодая,
И, руки смуглые кусая до костей,
Пьет жадно кровь свою измученный еврей.
Но Моисей невозмутим: он знает,
Что веру истую терпенье проверяет...
И по скале ударил он жезлом,
И брызнула вода сквозь твердый слой ручьем...
И, жажду утолив, раскаявшись и в пенях
И в ропоте, народ молился на коленях...

Вот так и ты, певец: хоть веря, но молча́,
Ты, вдохновенный, ждешь, пока возжаждут люди
Всем сердцем—и тогда ты освежишь им груди
Своею песнею, и закипит, звуча,
Она живой струей пустынного ключа.

1861.

ПСАЛОМ

(Давиду Иеремией)

На реках Вавилонских
Мы сидели и плакали, бедные,
Вспоминая в тоске и слезах
О вершинах Сионских:

Там мы лютни повесили медные
На зеленых ветвях.

И сказали враги нам:
«Спойте, пленники, песни Сионские».
Нет, в земле нечестивой, чужой,
По враждебным долинам
Не раздаться, сыны вавилонские,
Нашей песне святой!

Город Господа брани,
Мой Шалим светозарный, в забвении
Будет вечно десница моя,
И присохнет к гортани
Мой язык, если я на мгновение
Позабуду тебя!

Помяни, Адонаи,
В день суда—как эдомляне пламени
Предавали Твой город и в плен
Нас вели, восклицая:
«Не оставим и камня на камени!»
О, блажен и блажен,

Злая дочь Вавилона,
Кто воздаст твоей злобе сторицею,
Кто младенцев твоих оторвет
От нечистого лона
И о камень их мощной десницею
Пред тобой разобьет!

1854.

ЖИДЫ

Жиды, жиды! Как дико это слово!
Какой народ!.. Что̀ шаг, то чудеса...
Послушать их врагов—ревниво и сурово
С высот жидам грозят святые небеса...

Быть может, и грозят, но разве только ныне.
Где вера в небеса, там и небесный гром,
А прежде без грозы народ Свой вел в пустыне
Сам Бог, то облаком, то огненным столпом.

Теперь презренней нет, проклятей нет народа,
Нет ни к кому такой, как к ним, жидам, вражды,

Но там, где понят Бог и понята природа,
Везде они—жиды, жиды, жиды!

В Шалиме их, рукою Саваофа,
Пророку на скрижаль начертан был закон,
И крестным знаменем отмечена Голгофа,
И венчаны цари: Давид и Соломон.

И на Сион к жидам сошла от Бога вера;
И святы стали все шалимские места;
И пламенной мольбой шалимская гетера
Свой искупила грех у Божьего креста...

8 апреля 1860 г.

ПОДРАЖАНИЕ ВОСТОЧНЫМ

Храни поученье отцово,
Мой сын, и в скрижали души
Мое заповедное слово
Отныне навеки впиши:
Пребудь безбоязнен душою,
Но Господа бойся и чти;
Премудрость зови ты сестрою
И разум себе просвети.
И речи греха и обмана
Не будут нам—мудрым властны,
И в разуме будет охрана
Тебе от лукавой жены.

Взгляни!.. Не находит на ложе
Она ни покоя ни сна,
И ночью сидит настороже,
Сидит и глядит из окна—
Не бродит ли где в околотке
Случайно глупец молодой?
Не слышно ли праздной походки?
Не слышно ли песни ночной?
Увидит—услышит далече,
И выйдет, и станет ласкать,
И станет коварные речи
С бесстыдным лицом лепетать:

«Сегодня должна, по обету,
Я мирную жертву свершить,
А гостя любимого нету
Трапе́зу мою разделить.
Тебя я ждала и искала—
Ждала от вечерней поры:
Завесила одр и постлала
Египта двойные ковры,
Посыпала ложе шафраном,
Корицей посыпала пол—
Войди—и в веселье желанном
Возляжем за трапезный стол.

Мой муж отлучился далеко
И много унес серебра—
Унес и ревнивое око:
Пробудь у меня до утра...»
Прельстила беседою грешной,
Тенетами уст привлекла,—
И вслед за женою поспешно
Безумная жертва вошла:
Идет он, как вол на закланье,
Идет он, как к привязи пес,
Забыв, что души достоянье
На жертву блуднице принес.

1856.

ПЕРЕВОДЫ

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

1

«Поцелуй же меня, выпей душу до дна...
Сладки перси твои и хмельнее вина;
Запах черных кудрей чище мирры стократ,
Скажут имя твое—пролитой аромат!

Оттого—отроковица—
Полюбила я тебя...
Царь мой, где твоя ложница?
Я сгорела, полюбя...

Милый мой, возлюбленный, желанный,
Где, скажи, твой одр благоуханный?..»

25 июля 1856 г.

2

«Хороша я и смугла,
Дочери Шалима!
Не корите, что была
Солнцем я палима—
Не найдете вы стройней
Пальмы на Энгадде:
Дети матери моей
За меня в разладе.

Я за братьев вертоград
Ночью сторожила,
Да девичий виноград
Свой не сохранила...
Добрый мой, душевный мой,
Что ты не бываешь?
Где пасешь в полдневный зной?
Где опочиваешь?

Я найду, я сослежу
Друга в полдень жгучий
И на перси положу
Смирною пахучей.
По опушке леса гнал
Он козлят, я—тоже,
И тенистый лес постлал
Нам двойное ложе—
Кровлей лиственной навис,
Темный, скромный, щедрый;
Наши звенья—кипарис,
А стропила—кедры».

1856.

3

«Я—цветок полевой, я—лилея долин».
«Голубица моя бело-лонная
Между юных подруг—словно в тернии крин».
«Словно яблонь в цвету благовонная
Посредине бесплодных деревьев лесных,
Милый мой—меж друзей молодых;
Я под тень его сесть восхотела—и села,
И плоды его сладкие с'ела.
Проведите меня в дом вина и пиров,
Одарите любовною властию,
Положите на одр из душистых цветов:
Я больна, я уязвлена страстию.
Вот рука его здесь, под моей головой;
Он меня обнимает другой...
Заклинаю вас, юные девы Шалима,
Я хочу, я должна быть любима!»

1856.

4

Голос милого—уж день!
Вот с пригорка на пригорок
Скачет милый, легок, зорок,
Словно серна иль олень,
Гор Вефильских однолеток.
Вот за нашею стеной
Он стоит, избранник мой,
Вот он, сквозь оконных сеток,
Увидал меня,—глядит,
На привет мой говорит:
«Встань, сойди! Давно денница,
И давно тебя жду я—
Встань от ложа, голубица,
Совершенная моя!
Солнце зиму с поля гонит,
Дождь прошел себе, прошел,
И росистый луг зацвел...
Чу! И горлица уж стонет,
И смоковница в цвету,—
Завязала плод и семя,
И обрезания время
Запыхалось на лету.
Веет тонким ароматом
Недозрелый виноград...
Выходи, сестра, и с братом
Обойди зеленый сад.
Высока твоя светлица
И за каменной стеной...
Покажись же, голубица,
Дай услышать голос твой:
Для того, что взор твой ясен,
Голос сладок, образ красен».

— «Изловите лисенят,
Чтобы гроздий не губили,
И созрел наш виноград».

Мы пасли стада меж лилий...
Утомленный, он заснул...
Мы пасли...
Но—день дохнул,
Но задвигалися тени—
Он умчался, легок, скор,
Словно серны иль олени
На высях Вефильских гор.

1856.

5

Сплю, но сердце мое чуткое не спит...
За дверями голос милого звучит:
«Отвори, моя невеста, отвори!
Догорело пламя алое зари;

Над лугами, над шелковыми,
Бродит белая роса
И слезинками перловыми
Мне смочила волоса;

Сходит с неба ночь прохладная—
Отвори мне, ненаглядная!»

«Я одежды легкотканные сняла,
Я омыла мои ноги и легла,
Я на ложе цепенею и горю—
Как я встану, как я двери отворю?»

Милый в дверь мою кедровую
Стукнул смелою рукой:
Всколыхнуло грудь пуховую
Перекатною волной,

И, полна желанья знойного,
Встала с ложа я покойного.

С смуглых плеч моих покров ночной скользит;
Жжет нога моя холодный мрамор плит;
С черных кос моих струится аромат;
На руках запястья ценные бренчат.

Отперла я дверь докучную:
Статный юноша вошел
И со мною сладкозвучную
Потихоньку речь повел—

И слилась я с речью нежною
Всей душой моей мятежною.
1849.

6

На ложе девичьем, в полуночной тиши,
Искала я тебя, возлюбленный души:
Искала я тебя—напрасно все искала
Звала тебя к себе—напрасно призывала:
От ложа встану я и город обойду,
На улицах тебя, на торжищах найду.
Искала я тебя—напрасно я искала,
Звала тебя к себе—напрасно призывала!
Мне стражи встретились в полуночной тиши;
«Не знаете ль—где он, возлюбленный души?»
Не знали—я прошла... но вскоре и нежданно
Я встретилась с тобой, бледна и бездыханна...
Нашла тебя—нашла и крепко обняла,
И не пускала прочь, пока не увела
В дом нашей матери, под сень того чертога,
Где мать нас зачала и поболела много...

1856.

7

«Кто это, ливаном и смирной,
Как дым из душистой кумирной,
Кадя по пустыне, вдали
Летит, не касаясь земли?

Кто это рукой вожделенной
Сосуд мироварца бесценный
На черные кудри пролил
И розой уста обагрил?

Ты это, моя голубица,
Летишь по пустыне, как птица,
Как дым из кадила, быстра,
Ты это, мой друг и сестра!»

«Скажите мне, дщери Сиона,
Видали вы одр Соломона?..
Окрест шестьдесят сторожей,
Израильских сильных мужей,

Мечом препоясавши бедра...
Весь одр из ливанского кедра,
И золотом, словно огнем,
Горит изголовье на нем.

Скажите мне, дщери Сиона,
Видали ли вы Соломона
В порфире, под царским венцом?
Да?..
Нечего видеть потом».

1860.

8

«Хороша ты, хороша,
Всей души моей душа!..
Ты, сестра, ты, голубица,
Мне—восточная денница!..

Зубы—перлы; пряди кос
Мягче пуха резвых коз,
Что мелькают чутким стадом,
Над скалистым Галаадом.

Очерчлённые уста—
Алой розы красота;
Под лилейно-белой шеей,
Как под вешнею лилеей,

Горной серны близнецы,
Притаилися сосцы
В юном трепете... Нет мочи
Ждать тебя и темной ночи».

14 августа 1859 г.

9

«Сестра, все сердце нам до тла
Сожгла ты оком чистым
И наши взоры привлекла
Ты девственным монистом,—

Но отчего же у тебя,
Все наше сердце погубя,
Так рано перси зреют
И так уста алеют?

Ты на заре взошла цветком
И, ароматом вея,
Благоухаешь ты кругом,
Весенняя лилея:

Вот отчего так рано ты
Зажгла в нас страстные мечты,
Так рано нас прельстила взглядом
И выросла любимым садом,

Где ключ у нас запечатлен,
Где все цветет: и нард с шафраном,
И кипарис, и киннамон,
Где зеленей, чем над Ливаном,

Вся леторосль...
Скорей, скорей
Прохладой утренней повей
В наш сад, и с севера и с юга,
О, ветер!.. Жду тебя, как друга...»

14 августа 1859 г.

10

«Отчего же ты не спишь?
Знать, ценна̀ утрата,
Что в полуночную тишь
Всюду ищешь брата?»
«Оттого, что он мне брат,
Дочери Шалима,
Что утрата из утрат
Тот, кем я любима.
Оттого, что здесь, у нас,
Резвых коз-лукавиц
По горам еще не пас
Ввек такой красавец;

Нет кудрей черней нигде;
Очи та̀к и блещут,
Голубицами в воде,
Синей влагой плещут.
Как заря, мой брат румян—
И стройней кумира...
На венце его слиян
С искрами сапфира
Солнца луч, и подарён
Тот венец невесте...»
«Где же брат твой? Где же он?
Мы поищем вместе».

14 августа 1849 г.

11

«Все шестьдесят моих цариц
И восемьдесят с ними
Моих наложниц пали ниц
С поклонами немыми

Перед тобой, и всей толпой
Рабыни, вслед за ними,
Все пали ниц перед тобой
С поклонами немыми.

Зане одна ты на Сион
Восходишь, как денница,
И для тебя озолочён
Венец, моя царица!

Зане тебе одной мой стих,
Как смирна из фиала,
Благоухал из уст моих,
И песня прозвучала».

14 августа 1859 г.

12

«Словно пальма, величаво
Наклонила ты главу...
Но, сестра,—поверь мне,—право,
Я все финики сорву...

Все, хоть рвать пришлось бы с самой
Верхней ветки... верь мне—да!
Я сорву рукой упрямой
От запретного плода

Лучший гроздь... В тревоге старой
Сердце... Где уста твои?..
Жажду!.. Брата жаркой чарой
Уст румяных напои».

14 августа 1859 г.

13

«Ты—Сиона звезда, ты—денница денниц;
Пурпурóвая вервь—твои губы,
Чище снега перловые зубы,
Как стада остриженных ягниц,
Двоеплодно с весны отягченных,
И дрожат у тебя смуглых персей сосцы,
Как у серны пугливой дрожат близнецы,
С каждым шорохом яворов сонных».

«Мой возлюбленный, милый мой, царь мой и брат,
Приложи меня к сердцу печатью!
Не давай разрываться об'ятью:
Ревность жарче жжет душу, чем ад.
А любви не загасят и реки—
Не загасят и вóды потопа вовек...
И—отдай за любовь все добро человек—
Только мученик будет навеки!»

14 августа 1859 г.

ПЕСНИ АНАКРЕОНА ТЕОССКОГО

песня 1-я

К ЛИРЕ

Хочу я петь Атридов,
И Кадма петь охота,
А барбитон струнами
Звучит мне про Эрота.
Недавно перестроил
И струны я и лиру,
И подвиги Алкида
Хотел поведать миру,
А лира в новом строе
Эрота славит вновь.
Простите же, герои!
Отныне струны лиры
Поют одну любовь.

песня 2-я

САМОМУ СЕБЕ

Я стар, но с молодыми
Я выпью больше всех,
И тирсом хороводным
Мне служит винный мех.
А партексовый стебель
Пускай берет другой.
Кто хочет состязаться —
Со мной вступить в бой!
Скорее, отрок, в чашу
Вина мне наливай;
Но сладостный напиток
Водою размешай!
Я стар, но с молодыми
Умею поплясать,
Умею в резвой пляске
Силену подражать.

ИЗ СЛАВЯНСКИХ ПЕСЕН

НАНА

— Что это не слышно Наны
голосочка?
Затяни нам песню, маленькая дочка!

«Во саду-садочке
Выросла малинка:
Солнце ее греет,
Дождичек лелеет.
В светлом теремочке
Выросла Нанинка:
Тятя се любит,
Маменька голубит».

— У малютки Наны песенки-
малютки:
Малы, да пригожи, словно незабудки.

1835.

АЛЬФУС

Моравское предание

Быль, пережившая в устном предании роды и роды...

Близко моравского города Ольмюца, в старые годы,
Был монастырь кармелитов. Суров и печален
Нынешний вид монастырских развалин:
Крепкие стены обители, башни ее и платформы,
Камень за камнем, низринули грозные бури реформы;
Остов разрушенный в саван колючий одели
Темные сосны да ели.

Но до реформы, до распрей кровавых ее и гонений,
Иноков мирный приют от юдольных тревог и волнений
Был охраняем покровом святой благодати.
В это-то время, меж ольмюцких братий,
Славился Альфус своим благочестием строгим,
Христолюбивою помощью нищим, больным и убогим,
Знанием мудрым: провел он все лучшие годы
В вещем искусе природы.

Но, поседев над исканием истин в земных идеалах,
Альфус познал их тщету и, смиренною верою малых
Дух укрепивши с сомненьями в тягостной битве,
Жизнь посвятил и посту и молитве.
Изредка снова былые сомненья к нему возвращались;
Снова вопросы тревожно с душевного дна поднимались;
В присных глаголах природы отыскивал снова
Он вековечное слово...

Он убегал из обители... Дикую горную местность —
Скалы, овраги и чашу лесов—представляла окрестность.
Альфус садился на круче, над шумным потоком,
И вопрошал испытующим оком
Все сотворенное, но... святотайного трепета полны,
Словом одним отвечали деревья, стремнины и волны:
«Бог! — восклицали они на вопрос одногласно: —
Бог! — и сомненье напрасно!»

Альфус слезами раскаянья, новым и тяжким искусом,
Жаркой молитвой свой грех искупал пред Христом
Иисусом;
Сердце его, изнуренное грозной борьбою,
Вновь исполнялось святой тишиною;
Вера, сразивши сомненья, в душе коренилась глубоко;
Зорко и ясно глядело на мир просветленное око;
Духом горе возносяся к Господню престолу,
Был он лишь перстию долу.

Вдруг, на исходе земного пути, перед сенью загробной,
Дух отрицанья встревожил монаха насмешкою злобной:
«Старец, — шептал он ему — сердцеведец маститый,
Мудрой ученостью муж именитый!
Ясного знания пламенник ты представляешь собою;
Все, что для смертного ночь, лучезарнее дня пред тобою:
Мрак мой рассей, помоги мне в сомнении новом—
Душеспасительным словом.

Как сочетать нераздельно с единством бессмертного духа
Нашу переменчивость чувств? Отчего для юдольного слуха
В вечно-единой гармонии нет наслажденья?
И отчего для юдольного зренья
Нет постоянной красы ни в природе, ни в мире искусства?
И отчего утомляемся мы неизменностью чувства?
Чем об'яснить вечно юных основ обветшалость,
Сил неустанных усталость?

Если ж мы здесь устаем, как же т а м, где предвечно
блаженство,
Где совершать постоянно мы будем одно совершенство,
Как не устанет т а м сила и воля земная?
Что̀ неизменные радости рая?
Что̀ для людей эта вечность, без прошлого, без вспоминаний
И без грядущего также—без светлых, святых упований?
Вечность—пред ней человек и трепещет и плачет —
Что̀ ж она на́ небе значит?»

Не дал смущенный отшельник ответа на эти вопросы...
Мысли роились в его голове, как сердитые осы:
Каждая жалом язвила со злобой змеиной.
И отогнать он не мог ни единой.
В этих-то муках, в палящем томленьи нравственной жажды
Дух утолить из источника веры, поутру однажды
Он из обители вышел в нагорное поле —
Думам предаться на воле.

Майское утро сияло всей свежей своею красою;
Каждая травка на поле сверкала алмазной росою;
Ветер, припавши к деревьям, шептался с листами;
Пчелы жужжали, кружась над цветами.
Альфус спускался в долину по узкой лесистой тропинке;
Птицы, порхая в кудрявых кустах, отряхали росинки
На поседелую голову старца-монаха
И распевали без страха.

Все ликовало в природе, красуясь весенним убором,—
А равнодушный отшельник приветствовал мертвенным взором

Праздник весны-чаровницы и вспомнил невольно,
Как ему некогда было раздольно
В этой окрестности дикой, на первых порах послушанья;
Но пригляделись под старость ему красоты мирозданья:
Пук земляники и звезд океан многосветный
Стали равно безответны.

И вопросил искуситель: «Какие же даст наслажденья
Небо душе, утомленной и долу красами творенья?»—
В полном бессилье ответить лукавому бесу,
Близился Альфус к дремучему лесу.
Он еще издали видел, что странным и трепетным светом
Был озарен каждый листик в лесу неизведанном этом,
И разливалось с деревьев, покрытых цветами,
Благоуханье волнами.

Тайным испугом об'ят был монах, подошедши к опушке:
Дыбом седые его волоса поднялись на макушке;
Шаг он замедлил, как будто бы не было входа
В темные сени древесного свода;
Но, пересиливши ужас невольный, раздвинул тревожно
Он темнолиственный полог кустов и вступил осторожно,
Еле заметною стежкою, в лес незнакомый,
Светом призывным ведомый.

Свет его вывел к поляне, обставленной часто дубами,
Словно как сброшенный с неба, поросший цветущими мхами
Затканный сетью злаков, в дубровной пустыне,—
Высился камень по самой средине:
Сел на него престарелый монах, изнуренный ходьбою,
В тяжком раздумье склонился к земле головою
И на коленях скрестил исхудалые руки...
Вдруг донеслись к нему звуки...

Ближе, слышнее, стройней и согласнее сверху звучало,
Будто бы небо на землю певучей волной упадало,—
И раздался меж деревьев неведомый голос...
Снова на Альфусе дыбом стал волос,
Дрожь пробежала по фибрам его охладевшего тела...
А над дубровой, в дубраве, везде и повсюду гремела,
Вещими звуками прямо с душой говорила
Оку незримая Сила...

И никакая гармония в мире земном не могла бы
Дать хоть понятье о голосе чудном: беззвучны и слабы
Были в сравнении с ним голоса мирозданья,
Как перед громом листов лепетанья:

Но тихостройнее вещего голоса, чище, нежнее
Не было звука не только в природе,—в бесплотной идее:
Всякая нота в неслыханном голосе этом
Звуком дрожала и светом.

Не было собственно слов в нем, но речь из него выливалась.
Не было собственно пенья, но песня за песней слагалась...
Таинства веры, и тайны искусства, и тайны науки —
Все с'единяли в мелодию звуки;
Слушая те песнопенья, внимая их дивному строю,
Все и сполна понимал человек и умом и душею,
Жил нераздельно, дышал нераздельным дыханьем
С целым Господним созданьем.

Альфус внимал им в забвеньи... Впадали в такое забвенье
Древле пророки, когда нисходило на них откровенье...
Время летело, а Альфус все слушал и слушал—
И хоть бы помысл единый нарушил
Сосредоточенность чувств напряженных его и вниманья:
Миг или час он прослушал—в нем не было даже сознанья...
Но понемногу затихнули звуки—и снова
Стала беззвучна дуброва.

Альфус хотел приподняться, но члены его ослабели;
Встал он с великим трудом и, тропинку найдя еле-еле,
Из лесу вышел, шатаясь... Румянцем заката
Было давно уж полнеба об'ято;
Крепковетвистые дубы, стрельчатые сосны и ели
Только на самых верхушках живым изумрудом горели...
Альфус прослушал весь день и часов не заметил,
Духом восторжен и светел.

Между тем за́ день окрестность как будто бы вся изменилась;
Вместо тропинки, дорога широкою лентой ложилась;
Ивы над речкой сменилися аркой высокой;
Речка, поросшая прежде осокой,
Гладким, глубоким прудом, разлилась, запертая плотиной.
Женщины мыли бельe на плоту, но из них ни единой
Альфус не знал, хоть ему в поселеньях окрестных
Не было лиц неизвестных.

«Странно!—одна из молоденьких прачек подругам сказала:—
Знаю я ольнюцких братий, а этого старца не знала».
Альфус прошел, на болтунью не бросивши взгляда...
Вот показалась вдали и ограда
Мирной обители; но совершились и в ней перемены:
Новые здания выросли; шире раздвинулись стены;
Храм изукрасился и́звне лепною работой;
Купол горел позолотой.

Альфус к вратам монастырским приблизился—новое диво:
Явор, посаженный им накануне, разросся красиво
И над вратами раскинулся сенью густою.
Альфус звонок трепетавшей рукою
Дернул слегка—и смутился его изменившимся тоном...
«Что же случилось,—спросил он привратника:—с старцем Оттоном?»
Новый придверник ответствовал, после поклона:
«Нет у нас старца Оттона».

Альфус в ограду вступил: по аллеям ее вереница
Ольмюцких братий тянулась, но все незнакомые лица...
Стал он их звать поименно, но все в изумленьи,
Молча, стояли пред ним в отдаленьи.
«Братья!—воскликнул он:—Бог не явил ли великого чуда?
Разве из вас никому неизвестно, кто я и откуда?
Разве вы прежде меня никогда не видали,
Альфуса-брата не знали?»

«Альфуса?—молвил один из старейших монахов:—Когда-то
Я от игумна покойного слышал про Альфуса-брата:
Мудрый был, сведущий старец, и в мире бывалом
Прослыл науки зерцалом...
Раз поутру из обители он невзначай отлучился—
Видели братья со стен, как в лесу отдаленном он скрылся,
Но уж потом никогда и нигде не видали...
Только с тех пор миновали...
Целых сто лет...»
И с безумным отчаянным криком

Альфус на землю упал, цепенея в испуге великом...
—«Боже!—воскликнул он:—Боже! спаси и помилуй!..
Дух мой незримою силой
Ты укрепил и очистил: столетье, как день миновало...
Ибо глаголам Твоим сокрушенное сердце внимало..
Но до конца мне яви милосердие то же,
Боже мой, праведный Боже!

Ты восхотел показать мне, как был я безумен, дерзая
Радость земную равнять с вековечною радостью рая:—
Стал мне понятен и рай и его наслажденья.
Боже, прости мне мои заблужденья!
Грешен и мал человек, но Твое милосердье велико:
Ныне раба Своего отпущаешь с миром, Владыко,
И да прославится имя Твое трисвятое!»
Смолк—и свершилось земное.

1860.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Вл. Пяст—Л. А. Мей и его поэзия	3—24
Л. А. Мей—Изборник стихов	25—71
I. Лирика	25—31
Не верю, Господи...	25
Сумерки	—
Деревня	26
Знаешь ли, Юленька?	28
Огоньки	—
Четыре строки	29
На бегу	—
II. Русские сказания и песни	32—49
Леший	32
Вихорь	34
Русалка	36
По грибы	38
Песня	39
Из «песни про княжну Ульяну Андреевну Вяземскую»	—
Из «песни про боярина Евпатия Коловрата»	40
III. Из античного мира	41—49
Плясунья	41
Галатэя	42
Фринэ	43
Из поэмы «Цветы»	45
Камеи	47
IV. Библейские мотивы	50—59
Самсон	50
Притча пророка Нафана	52
Пустынный ключ	57
Псалом	—
Жиды	58
Подражание восточным	59
Переводы	60—71
Песнь песней	60
Песни Анакреона Теосского	66
Из славянских песен	—
Альфус	67

5/621/12/2
2047/1274
Мособлуправлит

ЩД „ПАРѲЕНОН" №

ВЫШЛО ИЗ ПЕЧАТИ И ПРОДАЕТСЯ:

1. ДОСТОЕВСКИЙ и ПУШКИН—Сборник статей, редакция А. Л. Волынского
2. ИН. АННЕНСКИЙ—Пушкин и Царское Село
3. Н. Ф. ПАВЛОВ—Именины, повесть
4. ЦАРСКОЕ СЕЛО В ПОЭЗИИ, сборник, сост. Э. Ф. Голлербах, редакция Н. О. Лернера
5. ВЛ. ПЯСТ—Л. А. Мей и его поэзия

ПЕЧАТАЕТСЯ И ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ:

О ЛЕОНАРДО-ДА-ВИНЧИ—ред. А. Л. Волынского
П. Е. ЩЕГОЛЕВ—Мария Волконская
Н. О. ЛЕРНЕР—Герои Пуншевого Века
СОБОЛЕВСКИЙ — друг Пушкина, со статьей В. И. Саитова
К. Н. ЛЕОНТЬЕВ—Автобиография, со статьей П. К. Губера
С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГ, академик—Индийская лирика
Б. Л. МОДЗАЛЕВСКИЙ—Пушкин под тайным надзором
М. С. ЛУНИН—Письма из Сибири, редакция С. Я. Штрайха
ГОФМАН и ПУШКИН—статьи Е. М. Браудо и Н. О. Лернера
НАРОДОВОЛЬЦЫ—Неизданные письма, редакция Р. М. Кантора
ПАРѲЕНОН—сборник первый, ред. А. Л. Волынского